

СИБИРИАДА

ОЛЕГ
СЛОБОДЧИКОВ



Заморская Русь

Сибириада

Олег Слободчиков

Заморская Русь

«ВЕЧЕ»

2021

Слободчиков О. В.

Заморская Русь / О. В. Слободчиков — «ВЕЧЕ»,
2021 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-8713-2

Новый роман известного сибирского писателя Олега Слободчикова рассказывает об освоении русскими первопроходцами неизведанных земель на окраинах Иркутской губернии, к востоку от Камчатки. Это огромная территория, протяженностью в несколько тысяч километров, дикая и неприступная, словно затаившаяся, сберегающая свои богатства до срока. Тысячи, миллионы лет лежали богатства под спудом, и вот срок пришел! Как по мановению волшебной палочки двинулись народы в неизведанные земли, навстречу новой жизни, навстречу своей судьбе. Чудилось: там, за океаном, где восходит из вод морских солнце, ждет их необыкновенная жизнь. Двигались обозами по распутице, шли таежными тропами, качались на волнах морских, чтобы ступить на неприветливую, угрюмую землю, твердо стать на этой земле и навсегда остаться на ней.

ISBN 978-5-4484-8713-2

© Слободчиков О. В., 2021

© ВЕЧЕ, 2021

Содержание

1. Алконостовы стрелы	6
2. Вольный промысел	32
3. Встреч солнца	55
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Олег Васильевич Слободчиков

Заморская Русь

© Слободчиков О.В., 2021

© ООО «Издательство «Вече», 2021

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021

1. Алконостовы стрелы

От Чухонских болот до огнедышащей Камчатки текло не худшее для Руси время: на западе менялись обасурманенные императоры и императрицы, на востоке, на Нерчинских рудниках, гремели кандалами русские цари-самозванцы. На небе был Бог, на Камчатке – Кох. Сибирскими городами правили латинянские выкресты, а за Уралом, на закатной его стороне, срамно ряженая служилая нерусь с выбритыми мордами и накладными бабьими волосами, добилаась свободы от служб и сословного права владеть русскими деревнями.

Но пашенная Сибирская Украина, где болезненно приживались выданные Москвой Новгородские вольности, жила сама по себе и под инородческой властью. Из потомков казаков, беглых, каторжных, ссыльных, промышленных, бывших ясачных людей здесь возрождалось русское крестьянство и, по мнению немцев-академиков, сибирский земледелец отличался от западного помещика только лишь тем, что не имел крепостных, но по русской старине нанимал в работники вольных людей.

Казалось бы, чего еще надо здешнему пашенному народу, радуйся тому, что есть: живи в Яви, славь Правь, Господа и Землю Матушку. Указ императрицы Елизаветы всем сословиям России, кроме духовных и крестьян, брить лица и носить немецкую одежду, их не коснулся. Но по подворьям и монастырям доживали век старики, исколесившие Сибирь в поисках воли, богатства и славы. По трактам и ямам они чудно баяли о землях за морем, где вьет гнездо Алконост – птица зоревая, рассветная. Сказывали и о беловодной Ирии, живущей по благочестивой старине, будто оттуда ушли по солнцу наши пращуры, чтобы хлебнуть лиха на западной стороне и в свое время вернуться. Так уж нам на роду написано, так уж нам по судьбе завязано.

Голь перекатная, не имевшая сапог в старости, не самовидцы, но послухи, говорили, будто хлеб, репа, капуста рождаются там сами по себе, как сорная трава, а из вымени небесной коровы течет молочная река. И по сию пору живут люди в Ирии праведно, а правят ими без всякой корысти двенадцать старцев. Те и вовсе святы – одеваются в рубища, босиком по снегу ходят. Чудом Божиим не потерявшие веры, распалили те баюны страсти молодых, готовых бежать на край света, выстилая путь могилами.

Наперекор пожарам и царским указам рос и ширился Тобольский город, сползая с горы посадом, подминавшим деревеньки слободы, некогда жившей особняком. Полузасыпанные рвы, бердыши и пищали по чуланам еще напоминали о лихих временах, но слободских казаков перевели в городской полк или записали в податные сословия, надолбы изрубили, вокруг приходской церкви поднялись высокие пятистенки с каменными и венцовыми подклетами, с резными въездами в жило. Слобода из пашенной превратилась в ямскую и слилась с посадом.

В доме здешнего старосты Александра Петровича Слободчикова всю ночь горели смолистые лучины, молодые спали урывками, старики и вовсе не ложились: старшая сноха хозяйина мучилась родами в чистой баньке. Июльской ночью не ко времени и не к добру кричали петухи, играл, блистая, месяц. К рассвету, когда мрак становится гуще, сорвалась с неба звезда и летела, не угасая, до самого края земли. В тот миг Феня разрешилась яростно запищавшим младенцем. Толстая, веселая повитуха перегрызла пуповину, ополоснула новорожденного в ушате и, удивленно посмеиваясь, показала роженице:

– Глянь-ко, ноги, что складной аршин. Как только нутро тебе не вывернул?!

В доме за выскобленным столом сидели седебородый хозяин Александр Петрович и его сват Иван Трофимович Окулов – отставной солдат Тобольского полка. Хозяйка, Дарья Ивановна, всю ночь провела в молитвах под образами. В сумерках рассвета поднялись сыновья Александра Петровича: Кирилл и Семен. Высокие, кряжистые, они вышли из горницы в непоясанных рубахах, ополоснули лица под лучиной в резной чаше с нападавшими туда угольками. Дарья Петровна кивком указала им на красный угол. Братья приготовились встать на

молитву, но приглушенно протопали чирки в сенях, распахнулась дверь, предрассветный дух, ворвавшись в избу, колыхнул пламя лучины. На осветленный круг выскочила белолицая жена Кирилла, Настя, и без тени бессонной ночи в глазах неприлично громко крикнула:

– С внуком вас, деды! И вас, дядья, с племянничком, – игриво поклонилась мужу и его брату Семену.

Дарья Петровна облегченно охнула, радостно стукнула лбом о пол, еще раз перекрестилась и резво вскочила на ноги:

– Слава Те, Господи! Ближе уже... Заря-зорюшка раны зашьет, кровь запечет...

Александр Петрович шумно вздохнул, хлопнул натруженной ладонью по колену, встал, положил на образа три глубоких поясных поклона. Поднимаясь на благодарственную молитву, тайком всхлипнул, засуетился отец роженицы, отставной солдат. Ему Бог дал одну только позднюю дочь, Феню, зато какую! Третьего сына родила!

Насмешливо поглядывая на стариков в свете лучины, Настя блеснула озорными глазами и прыснула в рукав:

– Внук-то не в корень пошел. Мучил Феньку, вылезть не мог – фузея застревала. – На удивленный взгляд отца роженицы пояснила, притопывая чирками: – Ноги в полтулова. Ужо встанет на них и сиганет на край света.

Дед Окулов намек понял, улыбнулся уголками глаз. Александр Петрович чуть приметным движением ладони отмахнулся от болтовни снохи: слава богу, внуки родятся и родятся, скоро придется расширять дом.

Кряхтя, с печи слезла дряхлая старуха, мать хозяина. Мелко потряхивая головой на морщинистой шее, обвела собравшихся выцветшим взглядом – чего шумят?!

– С правнуком тебя, матушка! – взял ее под руку Александр Петрович.

– Это у кого родился-то? – дребезжащим голосом спросила Матрена. Выслушала, кивнула, пожаловалась:

– Бок болит... Лежу, слышу – вода шумит, дощаник скрипит, Епифан ругается!

– Какой дощаник, мать? До Иртыша полверсты.

– Почудилось бабке Матрене, – опять прыснула Настя. – У Ивана Трофимыча кистень за кушаком клацает.

– Знак это! – строго шикнула на сноху хозяйка. Мужчины притихли, а Дарья Ивановна ласковым, почтительным голосом спросила старушку: – И чем же огорчился покойный батюшка Епифан?

– Не удержать, говорит, дощаник, все одно в море унесет, – пробормотала Матрена. И тут хрустнул брус под полатями, завyla собака во дворе.

– Господи, помилуй! – забеспокоились домочадцы. – Судьбу младенцу кличут.

В родовой чреде вольных крестьян и казаков этой семьи, державшейся за веру, землю и старину, время от времени появлялись лихие удалыцы, спускавшие накопленное отцами и дедами. Таков был Епифан, дед Александра Петровича, которого в сказках и прибаутках еще помнили тобольские старики. Говорили про него всякое и больше со смехом: будто на Неметчине своими байками он чуть было не сманил в вольные сибирские хлебопашцы самого царя Петра-антихриста, а мужицкий князь Меншиков попал в Березов-город, с его прелестных слов. Хотя доподлинно было известно, что за Иртыш Епифан не хаживал, набрел в эти места с восхода и всю свою молодую, беспутную жизнь рассказывал про Ирию, которая сокрыта где-то в таежном урмане.

Известно было и то, что спины он не ломал, поднимая целинные земли: принял на себя выбылое пашенное тягло с готовым подворьем и поднятой землей от человека, взявшего государев подъем и ушедшего дальше к восходу. Хозяином он был плохим, не вышел даже в прожиточные люди, богатства не скопил. Оженев сына Петра и похоронив жену, уходил куда-то веснами на все лето, а бывало, на годы. И однажды не вернулся, пропал без вести.

Но поднялось его потомство, сплотилось в семью, приросло к земле. Внук Епифана, Александр Петрович, вышел в лучшие люди. Да вот уже младший из его сыновей, Семен, отлынивает от хозяйства, любым тягловым работам рад, готов без жребия поверстаться в полк. Частенько примечал отец, как замирал он на пашне, глядя на зарю, пускавшую по небу огненные стрелы: остановит коня и глядит не наглядится. На встревоженный оклик отца однажды складно так ответил: «Покойники – и те ногами на восток ложатся, у живого как пяткам не чесаться?»

Было над чем задуматься Александру Петровичу: богат его дом, но не так крепок, каким казался соседям.

– Что, милая, на месте не стоитя? – ласково взглянул он на сноху. – Сбегала бы к отцу Андронику, сообщила. Светает уже, слава богу.

Приходской поп прибежал в опорках, на ходу стряхивая солому с подрясника. Спросил, перенесли ли роженицу в дом, вернулся ли Филипп, старший сын Александра Петровича, отец новорожденного.

– Вчера ждали, – развел руками хозяин. – Сегодня, даст бог, прибудет... И дитя, слава богу, не хворое, но есть приметы дурные – крестить бы поскорей!

Расспросив, что за приметы, отец Андроник стал успокаивать домочадцев:

– Унесет их на сухой лес. На той неделе буду поминать Сыся Великого. Знаете, что за святой? – Выпятив нечесаную бороду, поп заговорил громче, чтобы нечисти тошно стало. – Силен! Покойных оживлял. Его послушника бесы как-то обольстили посулами власти, ушел он от пустычника, а по дороге к нему и пристал этот... Ни баба, ни мужик. Давай тискать, в лицо лезть пастью смердящей. Послушник с молитвой – к одному святому, к другому, а бес только хохочет. Взмолился он тогда к помощи оставленного им Сыся, и нечистый забился в лихоманке, закорчился, заблеял козлом: «Против преподобного Сыся я бессилен!»

Поп еще раз перекрестился на образа и приглушенно прошептал:

– Наречем новорожденному в покровители – от всякой нечисти уберезет.

– Оно хорошо бы, – почесал затылок Александр Петрович. – Да как бы того... Не перегнуть. У свояков-то сын монашеский постриг принял...

В тот же день Филипп вернулся с ямского тягла. Высокий, широкоплечий в отца, густая мужицкая борода на молодецкой груди, бросил в угол кнут, положил поясные поклоны на образа, поклонился отцу с матерью и прошел в горницу взглянуть на новорожденного. Он уже знал о сыне. Привечая жену, кормившую ребенка грудью, спросил о здоровье. Уловив в ее голосе заминку, обеспокоился:

– Да все ли хорошо?

Не зная, смеяться или печалиться, она развернула пелену, обнажив ноги младенца. Филипп удивленно поднял брови и тихонько рассмеялся, погладив непомерно большую, в сравнении с тельцем, розовую ступню сына:

– В прадеда Епифана, видать, бродник!

Прошло несколько лет: не самых худших из тех, что бывали в Сибири. Мимо Тобольска, по Иркутскому тракту пробрели этапы запорожских казаков и литвинских гайдамаков, не желавших переписываться в податные сословия на своих Отчих землях. Затем прогнали староверов, выманенных из западных стран указом Петра III о веротерпимости, который они поняли, будто терпимости к природным русским людям, оказалось – к папистам, латинянским еретикам, всякого рода выкрестам и перекрестам. А их самих за крепость духа и верность русской старине указом царицы-немки отправили на вечное поселение в Сибирь. Кандальные и ссыльные поселенцы, шагая по тракту, крестились на купола церкви, против которой стоял крепкий дом Александра Петровича Слободчикова. Его младший сын Семен поверстался в драгуны по чужому жребию и умчался к востоку тем же путем, что каторжные и ссыльные, только доброй волей.

А дед Александр утешался внуками: рассаживал вокруг себя, крепышей пашенного корня, с опаской косился на Сысою, а то и выхватывал его, как кутенка, вертел в мозолистых руках, беззлобно поругиваясь, высматривал, куда пошла кровь. Малец был тощим и вертким, того и гляди укусит. Чуть подрос – стал показывать варнацкие замашки: поднял с земли камень, прищурился и в отместку за поклеванное темя разбил голову красавцу-петуху. В отрочестве с редкой меткостью метал плотницкий топор средней руки, да так к тому пристрастился, что пришлось прятать ходовой инструмент. По крестьянским и казачьим дворам, как всегда, подрастала и озорная ребятня, уготовленная свыше если не для каторги, то для дальней государственной службы. В свое время отторгнет их пашня и смирится родня, отпуская жить по судьбе: знать, и на таких есть нужда у Отца Небесного.

Бабка Матрена слезила с печи уже только по нужде: одной ногой в яви, другой – в нави, смутно жила в двух мирах разом, видела наперед судьбы внуков и правнуков, узнавая в них души давно ушедших людей. К Рождеству, на Святую Пасху и Троицу с большими сборами ее водили в церковь. С трясущейся головой, со всеми жалобами, сказами и молитвами она была для Сысои родней и ближе всех домашних. Он и спал с ней под одним одеялом, расспрашивал о всякой всячине, что лезла в голову. Бывало, уже не трещит лучина над чашей, в доме мутный свет луны, не спят только Сысой с Матреной. Услышав за печкой звуки странные, непонятные, он шептал:

– Баба, что это?

– А домовой! – как о пустячном отвечала старушка. – Он у нас работающий, запасливый, в покойного Петру... А то слышишь? Макошь шуршит, судьбу тебе прядет. Две девки незрячие, Доля с Недолей, узелки вяжут. Одна к счастью, другая – к несчастью. Кому нить оборвут – тот и отмучился... Про меня-то забыли, проси – не проси, не только слепы, еще и глухи!

– Мне-то что вяжут? – не давал покоя старушке Сысой. И трепыхалось сердчишко от сладостной тоски по предстоящей жизни.

– Известно что! Набродничаешься, хлебнешь лиха!.. Ладно бы не зря. Мало кто из бродников находит счастье. И не упомяну таких...

– А расскажи про Беловодье?

– Да я же там не была и мужик мой, Петра, не был, а отца его, Епифана, пустило или не пустило царство Беловодское, того не знаю. Бывало, чуть потеплеет – соберет котомку, зимний тулупчик бросит собаке на подстилку: «Или в Беловодье останусь, или разбогатею!» К зиме вернется голодный, драный, вытянет из-под пса брошенную одежду, вытрясет и в ней зимует... Мучим был бесовскими соблазнами, бедненький. Как-то, старый уже, с белой бородой, ушел и не вернулся.

– Расскажи! – капризно дрыгал ногами малец.

– Давно это было, – покорно вздыхая, шептала старушка. – Жили наши пращурь в благодатной стране. И по сию пору живут там сородичи в сытости и святости. И все-то у них по старине, без указов и принуждений... Молодые пожилых почитают. Лежит внучок с бабулей на печи, ногами не дрыгает... И живут они по сию пору, душой и телом чисты...

– Чего же нашим-то не жилось? – шептал Сысой.

– Так соблазны, прости господи! Нечисть, она же нашептывает: тама еще лучше! Те, от кого мы родом, поверили, пошли искать счастье на закате, а здесь правит сила темная. Хотели вернуться, а обратный путь заговорен, заколдоблен, по грехам открывается не всякому. Есть такие, кого приняло царство Беловодское, пожилы они там, не выдюжили тоски по родным и вернулись... Епифан, наверное, был из них. А там ли помер или где в пути, того не знаю. Последний раз совсем ветхим уходил.

И виделись Сысою во тьме ночной избы розовые скалы над белой водой, над ними птицы невиданной красоты. Но старушка вдруг жестко обрывала видение, со стоном переворачиваясь на другой бок:

– Счастья ищут лодыри да блаженные. Кто работает, тот и здесь живет справно...

Среди зимы, когда вся большая семья собиралась на ночь возле печки в теплой половине дома, от студеных ветров обнажилась земля, вздрагивали стены, жалобно скрипела тесовая крыша. Хозяйка Дарья Ивановна сама не отходила от икон, собирала по полатам и лавкам шаливших детей, ставила под образа, приговаривая:

– Детская молитва Богу приятна. Просите Господа, чтобы не было урону дому. Не дай бог, крышу сорвет.

Сысой зарылся под тулуп рядом с Матреной, на оклики бабушки не подал голоса. Дарья Ивановна заглянула на печь, нет ли Филиппова неслуха, спросила свекровь. Та открыла сонные глаза, что-то прошамкала. Сысой, крадучись, выглянул из-за трубы. Под образами на коленях стояла бабушка, хор братишек и сестренек подпевал ей. Голоса становились все чище и душевней. Сысой, глядя на трещину в потолке, одним ухом слушал их пение, в другое буря сладко нашептывала о дальних странствиях. И чудились ему свои бредущие ноги, скрытые снежной поземкой. Будто вели они его в неведомое, и радовалась душа.

Хлопнула дверь, вошел дед, клубами прокатилась по полу ворвавшаяся стужа. Он скинул тяжелую шубу, опустился на лавку, подпер бороду кулаком. С красными от мороза лицами вошли мать Феня и тетка Настя, застучали березовыми ведрами. От них пахло на печь молоком и свежим навозом.

– Какая беда грядет нашему дому? – боязливо прошептала Дарья Ивановна, обернувшись к мужу. – На соседских дворах у кого крышу своротило, у кого скотник, только у нас убытка нет. Не к добру это!

Настя заглянула в печь, поворошила угли, закрыла заслонку, видать, прижала хвост нечистому: «У-у-у!» – завыло, застонало в трубе.

– Свят... Свят... Свят! – закрестились женщины. Под образами запели громче, опасливей.

Дарья Ивановна, побряхтывая, влезла на лавку, пощипала фитилек лампадки, ярче и добрей высветились суровые лики святых. С печи слышно было, как она, водя носом возле иконы Чудотворца, просит за служилого сына Семена: «Отче-Микола, моли Бога за него!» Уже семь лет ее младший сын служил в каком-то приморском остроге.

Александр Петрович сидел не шелохнувшись, хмурили его лоб заботы дня, седые волосы лежали по плечам, борода касалась столешницы. По Иртышу ветер сбивал с ног людей и коней, лодку соседей Васильевых закинул чуть ли не на середину реки.

В сенях что-то щелкнуло, хрустнуло, мигнула лампадка, упал в воду уголек с лучины, в трубе опять завыло, послышалось, как заскрипели ворота, это Кирилл с Филиппом возвращались с дальней заимки. Настя с Феней набросили на плечи шубейки, побежали встречать мужей, распрягать коней. Но в сенях раздались топот и смех, голоса звучали не по погоде радостно.

Распахнулась дверь, опять впустив большое облако студеного пара, раскатившегося по тесовому полу, из него с закуржавевшими бородами и бровями появились краснощекие сыновья Александра Петровича, за ними сват Окулов в тулупе и еще кто-то в черкасской шапке и меховой епанче.

– Принимай гостей, батяня! – гаркнул Филипп, соскребая сосульки с лица.

Сысой с печи увидел гостя с обледеневшими усами и выбритыми щеками. Он скинул верхнюю одежду и остался в драгунском кафтане с нашивками. Заголосила баба Дарья, повисла на шее у приезжего; сбоку, утратив обычную степенность, топтался дед Александр. Забыты были и ураганный ветер, и беды соседей. Филипп с Кириллом вытащили из погреба бутылку с наливкой. С красными лицами в дом врывались соседские мужики. Феня с Настей, уже приоделись по-праздничному в сапожки и сарафаны, одна подбрасывала дрова в печь, другая обносила гостей вином.

Приезжий оказался дядей Сысою, служилым Семеном. Его бритый подбородок глубоко тонул в ниспадавших усах, голые щеки морщинисто западали на десны. Раздавая подарки из тяжелого мешка, он смеялся и шепелявил, как старик. Детвора по лавкам и полатам захрустела сахарными леденцами и медовыми пряниками. Настин брат, прибежавший с домрой под полой полушубка, расцеловавшись с Семеном, так ударил по струнам, что зазвенела посуда. Соседские девки пустились в пляс, игриво поглядывая на служивого. Кряхтя, стала сползать с печи беззубая и горбатая бабка Матрена.

– И ты жива, бабуля? – подхватил ее Семен. Та чуть из пимов не вывалилась. – Помнишь внука?

– Ты, Семка, ее не туркай, а то уссытся, совсем стара, – осадил служилого сына Александр Петрович.

Поздно разошлись гости, разлеглись по лавкам и полатам домочадцы. Семен как-то смущенно достал из опустевшего мешка запечатанную сургучом бутылку.

– Настоящая, царская! – сказал, пошевеливая усами.

Дед, отец Сысою и дядька Кирилл, стыдливо заулыбались, пить не стали и только слегка захмелевший от ягодной настойки Иван Окулов радостно зачмокал, глядя на полуштоф. При свете лучины отец и дядька Кирилл казались Сысою старей, чем днем: на их лицах шевелились тени от горевшей лучины, глубже пролегли ранние морщины. Та же полутьма молодила дедов и приезжего дядьку. Сысой понял, почему он показался ему старым: у него, как у деда Окулова, не было зубов и бороды.

Легли спать отец и дядя Кирилл. Дед, позевывая, достал новую лучину, зажег от догоравшей и закрепил над ушатом. Тихо разговаривая, за столом сидели трое. Дед Александр молча пригублял чарку с настойкой. Семен с дедом Иваном бубнили о чем-то дальнем: вспоминали переправы, перевалы, зимовья. Служилый дед то и дело хлопал себя по коленям:

– Вот этими вот ногами все прошел! – И спрашивал: – В Егорьевом редуте крещеный тунгус Федька, жив ли?

– Давно помер! – отвечал Семен и тянулся неверной рукой к бутылке.

Вот уж они пьяны, как купцы, дед Александр все чаще зевает, крестя бороду, а Семен бормочет:

– Лет пять тому встретил в Большерецком Михайлу Неводчикова. В знаменитые штурмана вышел, за море ходил. Тебе, Иван Трофимыч, от него поклон. И всему Тобольску тоже.

– Михейка жив?! – обрадовался было дед Иван и тут же завздыхал, покачивая коротко стриженной седой головой: – И до сих пор в Большерецке... Уж он-то мог найти... В этой вот руке, – совал под нос Семену иссохший кулак, были карты Беринга. Получил их от немца Вакселя и с боцманом Алешкой Ивановым через Анадырь доставил в Иркутск. Я-то что, как получил, так и сдал. А боцман грамотный был, водил-водил носом по бумагам, а после пропал.

Семен со вздохами пожал плечами:

– В Охотском и на Камчатке много людей, побывавших за морем, всякое говорят... Да только все послухи и ни одного видальца. А Слободчиковых, – болезненно помотал головой и так смял морщинистое лицо, что бритый подбородок скрылся в усах, – и на Илимее, и в Якутском, и на Камчатке... Не разберешь, родня – не родня?

На Илимее пашенная деревня больше ста лет стоит: самые старые старики уже там родились. В Якутском – казаки, на Камчатке: и русичи, и коряки с ительменами... Говорят, якутский казак Федька Слободчиков пришел туда с первым отрядом, а под старость рукоположился в попы, крестил всех подряд, наприимал разных народов в свои крестные дети. Попробуй разберись теперь, откуда пришел Елифан, куда ушел? Наверное, и за морем наших много. Да только дальше ближних островов я не был. Не посылали, а бежать духа не хватило. Изверился! – простонал, опустив чубатую голову к столешнице. – Видать, судьба так завязана – вам, старикам, выпало радоваться и пить медовую брагу, а нам, с похмелья, – дохлебывать гуцу! –

Неверной рукой он чокнул краем своей чарки по окуловской, показывая, что хочет закончить смутный разговор, зевнул, поднял оловянные глаза к потолку, увидел Сысою, чутко слушавшего и пристально наблюдавшего за ним. Плутоватая ухмылка мелькнула под драгунскими усами.

– Дай-ка нож, Трофимыч!

– Зачем? – сунул руку за голяшку дед Иван.

– Однако у племянника уши длинноваты, надо окоротить!

Сысой вздрогнул, пискнул и исчез, заползая за бабушку Матрену. За столом засмеялись. Сысой понял, что дядька пошутил, стыдясь нечаянного испуга, снова пополз на край печи. Семен икнул, подобрел, покачиваясь, встал, протянул ему руку и резко отпрянул, затряс укушенным пальцем. Теперь рассмеялся Александр Петрович:

– Нашла коса на камень!.. Этот ушкой еще и тебе покажет кузькину мать. Прочили его в преподобные, Феня до сороковин каждый день в церковь носила, Андроник причащал. Похоже, не помогло!

Семен протрезвел. Не зная, смеяться или сердиться, сел на прежнее место. Сысой снова выглянул, их взгляды встретились. И дядька вдруг подмигнул ему:

– Тоже, поди, в земле копать не станешь? Топор за кушак, фузею на плечо – и айда искать счастья! – С болью тяжело доставшегося опыта, добавил: – Ведь нам с тобой подавай все сразу... Сколько у тебя, батя, скотины? – обернулся к отцу.

– Два десятка коней, коров столько же...

– Попробуй-ка походи за этой прорвой, – скривился Семен. – А Сысойка найдет землю, где работать не надо: молочны реки, кисельны берега, хлеб на деревьях...

Насмешка задела за живое отставного солдата, он поднял голову, сипло заспорил:

– А что? Откуда вышли, туда и придем. Ближе уже!.. Боцман Иванов знал, где искать. Он грамотный был. И ты, внучок, учись читать.

Дед Александр глубоко зевнул, на выдохе, прерывисто и устало укорил служилых:

– Человеку от Бога велено добывать хлеб в поте лица своего. Кому даром достается, от того Отец Небесный отступился. А нечисть... – Дед перекрестился, слегка обернувшись к образам. – Заманит посулами, озолотит, а после посмеется: золото окажется дерьмом, а хлеб – камнем. По-другому не бывает! Чем тебе наша жизнь плоха? – с притерпевшейся тоской взглянул на Семена. – Самый главный, самый счастливый человек на земле – пашенный, божий человек.

– А как ему без служилых? – младший сын поднял непокорные глаза и расправил усы казанком указательного пальца. – Тут же обчистят и закабалят.

– Что правда, то правда, – примирясь, снова зевнул дед Александр, мелко крестя бороду. – Без воинства никак нельзя. Купчишка откупится, дворянчик обасурманится, у мужика вся надежда на служилых... А вы и рады пятки чесать.

Завыло в трубе, заохало, заскрипела крыша. Дуло с востока на запад.

Дядька Семен оказывал Сысою особое внимание среди племянников, будто был с ним в сговоре.

– Печать на тебе вижу, – говорил, посмеиваясь. – Как и я, сбежишь от пашни. Будет – не будет тебе счастье... Уж как на роду писано, а долю найдешь. Только уходить надо с ружьем... Здесь нынче ружья делают хорошие, захожу в мангазейну – не налюбуюсь. А там, бывало, дадут ржавую дедовскую самоковку, а из нее с полусотни шагов в коня не попасть, куда уж себя защитить. Дыма да грохота там уже и медведи не боятся, не то что дикие люди.

– А что у тебя зубов нет? – спрашивал Сысой, разглядывая впалые губы под усами. – Дед старый, а у него есть.

Дядькины пшеничные усы начинали шевелиться, глаза плутовато разгорались.

– Зубы свои я по островам растерял, и все из-за золота! За морем его много, вместо камней на земле валяются червонцы. Высадился я как-то на остров – лежат они под ногами,

а на меня бегут алеуты с дубинами. Я натолкал за щеку, из пищали – бах! Дым, ничего не видать. Выскакивает здоровенный алеут – меня дубиной по щеке – хрясть! Вместе с золотом вывалилась половина зубов. На других островах так же! Есть у диких в том и другой умысел: чтобы пришлый человек хлеб, рыбу ел, а мясо не трогал, китовины им самим не хватает.

Дядька хохотал, разинув беззубый рот. Сквозь нависшие усы розовели голые десны. А Сысой кручинился: воли ему хотелось, но с зубами. И томила душа от дядькиных сказов про острова, галиоты, фальконеты, фузеи. Раззадоренный ими, он бегал в ружейную лавку, часами глядел на ряды ружей, пистолей, на чучела зверей, горки пуль и дробы.

По воскресеньям и престольным праздникам большая семья Александра Петровича ходила в церковь. Впереди шагал хозяин с Дарьей Петровной, за ними шли сыновья с женами и детьми. Нищие, убогие, издали завидев пышную седую бороду старосты, начинали возбужденно переговариваться, просить громче и жалобней. Александр Петрович доставал кожаный кошель, выкладывал на ладошки внуков и внучек медные монетки:

– Пойдите, подайте! От молодого и безгрешного милость Богу угодней!

Сысой в косоворотке и бараньей шапке шагнул к ряду убогих, сидевших вдоль церковной ограды. Его кулачок со сжатой монеткой схватили цепкие пальцы, глаза встретились с мутным взглядом дурочки. Он разжал кулак.

– Фу, медяк! – надула губы Глашка. – Золото дай! – И расхохоталась: – Ходить по золоту будешь – богатства не наживешь!

Сысой, широко раскрыв глаза, выдернул руку. Ударил колокол к обедне, спугнув с колокольни стаи воробьев и голубей. Шаркая великоватыми, с брата Федьки, чирками, подбежал к отцу, вцепился в его шитую крестами опояску.

– Глашка золота просит! – вскрикнул испуганно.

– Бог с ней, блаженная, – улыбнулся в бороду отец. – Сама не знает, чего говорит.

Получив подзатыльник от старшего брата, Сысой скинул шапку, стал креститься на купола приходской церкви, но думал о своем: верил дурочке, что будет ходить по золоту. Торопливо и приглушенно, захлебываясь и заикаясь, рассказал о том дядьке Семену, переметнувшись к нему от отца.

– Что с того, что не разбогатеешь? – с пониманием рассмеялся он. – Зато будешь искать! Так оно даже лучше. Узнает царь от ушников-соглядаяев, что самовольно нашел самородное золото или клад, отправит на каторгу.

Крестясь, семья вошла в притвор. Александр Петрович достал из кошелька серебряную монетку, опустил в блестящую коробочку пожертвований на ремонт храма. А зловерный, писклявый голос из-за левого плеча с затаенной страстью шепнул Сысою на ухо: «Укради!» От такого совета у него качнулся пол под ногами, он перекрестился, хотел плюнуть через плечо нечистому в рыло, но получил другой подзатыльник от Егорки. Не сильно оплеванный бес, видать, утерся и опять за свое: «Разбогатеешь, храм построишь... А без ружья за морем никак нельзя!»

В то же воскресенье, после полудня, закадычный дружок Васька Васильев, из бедных переселенцев, сказал, что видел у воды на камне змею.

– Айда убьем! Сто грехов отпустится! – зашептал, выпучивая глаза.

Вдвоем мальчишки побежали к яру. Не обманул Васька, в том месте, где указал, на камне грелась змея. Разинув рты от жути, они бросились на нее, не ждавшую врагов, измолотили палками. Потом жгли на костре, ожидая, что высунет ноги из-под чешуи, топили жир и мазали им глаза, чтобы видеть клады под землей. Васька приговаривал, что хочет своему дому богатства, но прожег подол рубахи и, всхлипывая, поплелся получать взбучку. Потом настала ночь, которую Сысой помнил всю дальнейшую жизнь и гадал: было ли то в яви или привиделось в бреду.

Он отпросился в ночное со сверстниками, но по пути увидел, что церковная дверь приоткрыта, протиснулся в притвор и забрался в пустой ящик из-под проданных икон. Поп Анд-

роник пошаркал сапогами возле клироса и ушел, звонарь, живший во дворе, в сторожке, долго препирался со старухой, протиравшей пыль. Затем дверь закрыли и, судя по звукам, заперли. Этому Сысой не ждал. Он посидел, прислушиваясь. Никого. Тихонько нажал на крышку ящика, в котором сидел, под куполом загрохотало, заскрежетало. Сысой замер с колотившимся сердцем, опять толкнул крышку, и снова раздался жуткий шум. «Эхо», – подумал, бесстрашно выбрался из укрытия и шагнул к блестящей коробочке.

– погоди! – простонал голос за спиной.

Сысой испуганно обернулся. Над высокой дверью висела икона седобородого Николы Чудотворца, покровителя странствующих и промышленных. Святой смотрел на него с укором. Сысой стыдливо вздохнул, пожал плечами, снял коробку, тряхнул и с облегчением понял, что денег в ней нет. Захохотал писклявый голос за плечом. Баба Дарья часто говорила, если кто-нибудь из домашних боялся идти ночью в конюшню или в амбар: «На скотном дворе чертям делать нечего, они там, где святость». Вспомнив бабушку, Сысой хотел повесить коробку на место, но краем глаза заметил движение на иконе, вздрогнул, вскинул взгляд и увидел, как потеплевший насмешливый глаз Чудотворца по-свойски подмигнул ему. Коробочка выпала из рук. С купола снова обрушился страшный грохот. Сысой бросился к двери, толкнул ее плечом, но она не двинулась. Шум за спиной стих. «Эхо!» – опять подумал он.

За дверью раздался голоса и топот. Мальчик нырнул в ящик, накрылся крышкой. Заскрипел засов, дверь распахнулась, четверо мужчин внесли закрытый гроб. Сысой приготовился выскользнуть из храма, но в дверях стояли темные фигуры людей. Гроб поставили, все вышли и опять заперли храм.

Стало совсем темно. Перед распятием тускло горела лампада, чуть высвечивая край гроба. Сысой вспомнил, что умер дед Савин. Про него говорили, будто он десять лет не слазил с печи и под левой пазухой выпарил из петушиного яйца летучего змея, которого в посадке и слободе видели многие. Змей летал по ночам, рассыпая искры, как головешка, забирался в трубы домов. Сказывали, что старик загадывал на масло, вот змей и шарил по горшкам. А взял на себя грех дед Савин, чтобы потомство жило богато.

Сысой старался не смотреть на гроб, но глаза сами собой поворачивались в ту сторону. Под куполом раздался приглушенный скрежет. Опять мурашки поползли по коже. Сысою показалось, что крышка сдвигается, из-под нее на четвереньках выбирается дед Савин. Иконы ожили: Богородица у распятия смахнула слезу. Христос поднял голову, сквозь спутанные волосы посмотрел на Сысою, качнул головой: «Зачем ты здесь?»

Где-то прокричал петух. Сысой трижды перекрестился: гроб как гроб, крышка закрыта, все на месте. Только сердце стучало, едва не выскакивая из груди. Потом послышался скрип открываемой двери. Вошел старый дьякон, за ним еще кто-то. Стали зажигать свечи возле гроба. Сысой выскользнул из церкви, в темноте добежал до дома, на крыльце столкнулся с соседкой. Та вздрогнула, закрестилась. Он подпернул штаны, показывая, что ходил до ветра, прошмыгнул мимо и лег на лавку возле печи, укрывшись дерюжкой. Возле головы, не муркая, клевал носом кот.

Впечатления ночи вновь и вновь плыли перед глазами, в ушах шумело. Еще не рассвело, он увидел, как с печи слазит незнакомая грузная странница. «Ночует», – подумал. Старуха толстой, как окорок, ногой долго шарил лавку. Сысой даже голову убрал, чтобы невзначай не ступила. Тяжелая ступня опустилась на кота и тот не мякнул. Старуха слезла на пол, не крестясь, переваливаясь с боку на бок, направилась к двери.

«Пришлая», – подумал Сысой, проваливаясь в темную шершавую глубь.

Утром на лавке нашли мертвого кота, Сысой метался в горячке. Баба Дарья наговаривала на воду, брызгала и отпаивала внука травами. Антонов огонь прошел, но начал расти горб. Приходил казачий фельдшер, щупал, хмурился, цокал языком. Выпив чарку настойки, обсосал усы, пожал плечами, сказал всхлипывавшей Фене:

– Позвонок на месте, хрен его знает, отчего горб растет!

Вскоре горб появился и на груди. Голова ушла в плечи, Сысой стал задыхаться и не мог выйти на улицу. Филипп взял на ямской станции рыдван, впряг самую спокойную кобылу, повез сына в город, в полковой госпиталь. Лекарь вышел на крыльцо с трубкой в зубах, с окровавленными руками, раскричался с перекошенным лицом и прищуренным от дыма глазом:

– В церковь вези покойника, без него другую ночь не сплю!

Тем летом стояла необычная сушь, какой старики не помнили. Трескалась земля на пашне, в полдень невозможно было бегать босиком, и детям шили лапти из кошмы. По слободе и посадку ходил крестный ход с иконами, молил о прощении грехов, о дождях и урожае, просил Заступницу, чтобы умолила Сына не наказывать народ так сурово.

Домашние Сысою, пользуясь случаем, решились на крайние меры: положили его, чуть живого, на пути крестного хода. С пением через больного переступали отец Андроник, старый дьякон, певчие и пашенные мужики. Сысой открыл глаза, увидел над собой светлый лик с живыми сочувствующими глазами, слеза капнула ему на щеку, он уже не думал, к чему бы это, как вдруг толпа завyla и заметалась. Отец Андроник сунул под мышку крест, подхватил ризы и скакнул в сторону с рассыпавшейся по плечам бородой. На дорогу выскочил бык на коротких ногах с толстой шеей. Сысой от страха попытался встать на четвереньки. Бык, дыхнув мокрым в лицо, зацепил его рогами и швырнул под заплот.

Отрок пришел в себя на лавке под иконами. Все тело болело, мигала лучина, плакала мать. Баба Дарья, стоя на коленях и положив голову на лавку, безнадежно повторяла: «Господи, помилуй! Г-п-ди п-м-луй! Пр-сти прегрешения вольные и невольные!» Сысой же, будто в яви, увидел свой непрожитый день и понял, что не может умереть, не пережив его: то усиливаясь, то ослабевая при налетавших порывах ветра, моросил теплый дождь и все плотней прилеплял к мачте мокрый флаг. Сысою от всего того стало так грустно, что он попытался вздохнуть. В боку при вздохе что-то лопнуло, и стало легче. Он перестал стонать и хрипеть, прислушиваясь к удивительной ясности внутри себя.

– Отмучился Сыска, слава богу! – устало сказала мать без слез в голосе.

– Я живой! – возразил он и удивился громкости своих слов.

В доме засуетились, зажгли еще одну лучину. Феня приподняла дерюжку, прикрывшую сына: рубаха и лавка были залиты гноем, из прорвавшегося «горба» текло и текло.

В эту ночь незаметно отошла бабка Матрена. Потом в доме вспоминали, что, когда умирал Сысой, она сползла с печи с ясными глазами, потребовала медный котел, а в него воды из семи колодцев. Бросила туда четверговых угольков, нашептала, обрызгала правнука и сказала, что он будет долго жить. Затем бабка попросила сводить ее в баню. Снохи помыли старуху, одели в чистое. Напившись травяного отвара, она заняла любимое место на печи. Пока в доме радовались, что Сысою полегчало, про нее забыли, а когда хватились, старушка была холодной, но застыла с добрым лицом, вытянувшись, как в гробу, крестообразно сложив руки на груди.

Был у семьи на кладбище свой угол возле старой часовни. Наверное, один только Александр Петрович знал, где кто лежит, посылая сыновей менять подгнивавшие кресты. Ходили на кладбище всей семьей с малыми детьми. Старшие, прислонив заступы к соснам, трижды обходили могилы, касаясь в поклоне земли пальцами, поправляли осевшие холмики, потом расходились парами, проведать усопшую родню жен. Дарья Петровна наклонялась к иконкам на крестах, шептала через них в подземелье, спрашивала, как лежит покойным, потом говорила:

– Петра просит березку выдрать, что в головах выросла. Мешает.

Похоронив старушку, Семен, бывший на льготе, испросил родительского благословения, попрощался с живыми и мертвыми, откланялся на все четыре стороны и отбыл на дальнюю полевую службу в Киргизские степи.

Давно ли Егор, старший брат Сыся, учил его играть на гудке? Но вот уже он прихорашивался после работ и пропадал до рассвета. По слухам, ходил не на молодежные вечеринки, а к поповской дочке. Отец Андроник привечал работающего парня из хорошей семьи, по праздникам певшего на клиросе, сам частенько захаживал в богатый дом и был не прочь породниться. Умер дьякон, Егор стал дьячить, и с ним все решилось: первый сын – Богу.

– Данилка! Вставать пора. Пригони коней! – Сысой слышал, как дед будит двоюродного брата, Кириллова сына, сам забирался поглубже под одеяло и досыпал последние сладкие минуты. Данилка потягивался, тряс головой, шуршал чирками. Рассветало. Он прихватил удочку – попробовать, не клюет ли на омуте. И вот нет его.

Дед, приглушенно ругаясь, уже неласково будил Сыся:

– Пойди узнай, что до сих пор не пригнал коней?

Сысой поплелся к реке, качаясь и зевая до слез. Увидел, стоит Данилка с удой и таскает окуней. Подбежал. Куда девался сон:

– Дай половить?!

Получив удочку, как о пустячном, бросил через плечо:

– Дед ругается!

– Сейчас пригоним! – отмахнулся Данилка и стал советовать, как подсекать рыбешку.

Вот уже Федька бежит:

– Вы чо? Дед аж красный. – Увидев снизку с рыбой, простонал: – Дай пару раз закинуть!

Лошадей гнали поздно. У Федьки, для оправдания, тяжелая снизка с рыбой, у Данилки – удочка, Сысой, шмыгая носом, сидел верхом на кобыле, надеялся, что не попадет под горячую руку: лошадь дед пожалеет. Тот встретил внуков с сердитым лицом, из-за голяшки его сапога торчало кнутовище, борода топорщилась, как клоч соломы на вилах. Дед запустил коней во двор, молчком помог закрыть ворота. «Вжик!» – просвистел кнут. «Ой-ой-ой!» – замахал руками, завертелся Данилка. «Вжик!» – на палец выше конской шкуры моченый кожаный конец хлестнул Сыся. Будто головешку приложили к заду. Он подскочил на конской спине, в тот же миг по ягодицам прошелся второй удар. Сысой кубарем слетел с лошади, закрутился по двору, как петух с отрубленной башкой. Федька стоял, опустив голову. Кнут вытянул его вдоль спины. Он вздрогнул всем телом, повинно ждал другой удар. Федька – старший. Но кнут, описав дугу в воздухе, стегнул по земле. В доме заканчивалась утренняя молитва. Братья крестились и прятали глаза от младших.

– Гнедка запрягай и Карьку, – распорядился дед. День со всеми его радостями и печалью продолжался.

Александрову дому опять подходила пора рекрутчины. «Не дай бог, Федька пойдет на цареву службу», – шептались по углам мужчины и женщины. Он был любимцем у деда, отца и дяди: неутомимый в работе, азартный в драках, с малолетства не пропускал ни одной стенки. Бился с удалью, но без злобы. И, если Егор брался подыгрывать, выходил один против трех посадских. Отец Андроник и дьяконица не одобряли участия молодого дьякона в драках, но с удовольствием смотрели, как Егор, видя нечестность противника, подтыкал за кушак полы подрысника и пускал в ход пудовые кулаки спина к спине с братом. После, на службе, приходские мужики и бабы посмеивались, кивая друг другу на синяк под глазом или на вывороченную губу дьякона. Но не осуждали – дело молодое.

Семья держала скакуна, выкармливая его сухим овсом для скачек. Федька чистил, кормил и холил жеребчика, на нем брал призы на скачках. По всей стати выпадала ему дорога в служилое сословие, если бы не мужицкая тяга к земле. Почти таким же рос Данилка, тянулись следом двое Кирилловичей – все крестьянская поросль. Сысой же и видом и душой не в них: то накосит, как хороший мужик, то бросит коня нераспряженным. Пороли, стыдили, уговаривали – все без толку. Начали смиряться, а потому любили по-особому: с болью. И он любил свой дом. Особенно старшего брата Егора, младшего – Ваську и еще соседскую Анку.

Как-то удили с ней рыбу, склонились над водой и увидели свое отражение – незнакомое, повзрослевшее. Анка сказала, что это знак. Смеясь, зачерпнула воды в ладони, выпила и наполнила Сысою из рук. Станным светом засветились ее лицо:

– Вырасту, за тебя замуж пойду! – сказала, зардев, и опустила васильковые глаза. А когда подняла их, то показалось Сысою, что красивее их он ничего в жизни не видел.

Но закаркала пролетавшая ворона, и в Анкиных глазах мелькнули слезы.

– Дурра-птица! – крикнул Сысой и запустил в ворону камнем. Она ловко увернулась и раскричалась сварливо, насмешливо.

Мало отличаясь один от другого, год за годом текла размеренная жизнь крестьянских дворов: работа, как подготовка к праздникам, праздники, как отдых перед работой. На неурожайные годы в Александровом доме был запас, дававший достаток, в урожайные – не баловались излишествами. Разве хозяин старел, матерели его сыновья и подрастали внуки. Сысой вытянулся, догнав ростом старших братьев.

На Семик посадские выбрали молоденькую девку, обрядили ее березой, с песнями и хороводами водили по дворам. Сысой гулял со старшаками, пока не ущипнул чью-то невесту. После того подравшийся и братьями осужденный в печали шлялся один по берегу Иртыша.

Пламенела заря, румянилась вода в реке, перелеском да кустарником Сысой вышел к знакомому омуту, глядь, сидит на камне русалка, чешет гребнем мокрые волосы, а из них торчит один только прямой и тонкий носик. Взглянул Сысой на нее сбоку – дух схватило: будто судьбу подглядел. О том, что она может утянуть под воду, зашекетать и утопить, в голову не пришло. «А вот я тебя, стерва, окрещу!» – подумал с удалью. Трижды перекрестился, подкрался, изловчился, снял с себя крест и накинуд на девичью голову.

«Русалка» обернулась, завизжала, бултыхнулась в воду. Вынырнула, прикрыв грудь ведьмачьими волосами, закричала:

– Уйди, дурак, дай одеться!

Взглянул Сысой под камень, а там сарафан с рубахой и березовые ветки. Вон кого водили по дворам. Плюнул он с досады и поплелся домой. Мать, перед сном крестя непутевого сына, хватилась – нет креста. Плохая примета.

На Троицын день Сысой и думать забыл про напуганную девчонку. У каждых ворот горела солома, вдоль дороги дымили бочки с дегтем. Девки бегали вдоль реки, кликали судьбу, связывали ветви берез русалкам на качели. Первый раз, ни от кого не прячась, Сысой бегал рука об руку с соседской Анкой. Вдруг выскочила из толпы посадская девка с огромным венком на голове, скрывавшем большие синие глаза и прямой, остренький носик. Разжала кулак у лица Сысою, а в нем его старый утерянный носильный крест. Засмеялась посадская проказница и пропала в толпе.

– Кто такая? – спросил он Анку.

– Похожа на Мухину, – оглянулась она мимоходом. Бегала от костра к костру, не думала не гадала, что завязаны уже узелочки на их судьбах, да все разные.

Благополучно пережила семья еще одну зиму. И донесли Филиппу, что его сын Сысой, крапивное семя, по ночам не табун сторожит, а с молодой солдаткой милуется. Филипп накричал на сына:

– Приеду ночью, проверю! Не окажешься при табуне, покажу тебе и солдатку, и кузькину мать!..

По проселочной дороге ехал дьякон на возке. Возле казенной лавки услышал об этом разговор кумушек. Остановил лошадь, прислушался.

– Сын-то и посмеялся бесстыдно: «Приедь, говорит, да проверь!» – Отец ему: – «И проверю! Вместо Серка запрягу, буду гонять до рассвета...» Черт, прости господи, возьми и подслушай – юнец поперек отца, да еще насмехается: «Кто кого оседлает?!» Угнал он табун, жеребца спутал, ботало повесил, отпустил на болото, а сам на коня, и к бесстыжей. К полуночи

только вернулся и видит – выходит из балагана Филипп. «Посмотри, – говорит, – на жеребушку!» А та лежит не дышит: зацепилась, спутанная, за пень, упала на спину и удавилась. Филипп ему: «Дошлялся, сукин сын?» Хватъ за космы, тот – обороняться. Чует – не отец это. Потянулся за дубиной, а черт на него седло накинул и давай погонять...

Дольше Егор слушать не стал, тряхнул вожжами, не останавливаясь, погнал возок к отчему дому. Отец встретил дьякона хмуро. За голяшкой – кнут, на жердине свежая конская шкура. На вопрос о брате ответил:

– Где ему быть? Отлеживается на полатах, чешет поротую задницу... Женю, сукина сына, может, толк будет.

Но на другой уже день лучших мужиков позвали в приказную избу. Окладчики требовали двух слобожан в помощь бурлачившим казакам. Им предписывалось тянуть дощаник с горным оборудованием до Павлодарской крепости, там сдать его линейным казакам и обратным ходом пригнать соль с Ямыша.

Дед, отец и дядя вернулись поздно, сидели за столом, переговаривались. Сысой с полатей слышал, о чем речь. Податные дворы отправляли в тягло новое поколение. По совести, подходил черед Александровскому дому. Как ни рядили – выпадало идти Федьке. Сысой, как кот, почуявший свежую рыбу среди зимы, соскочил с полатей, винтом прошелся возле печи, понял – его час.

– Деда, батя, дядя... Федьке – жениться, он по хозяйству нужней... Христом Богом прошу – меня отправьте!

– Цыц, щенок! – хмуро пробормотал сердитый еще отец.

Сысой схватился за брус, подтянулся, закинув жилистое тело на полати. По мгновенной искорке, блеснувшей в глазах деда, понял – его взяла.

– Федька при деле и с душой! – тихо сказал он.

– С малолетства видно было – в бродников пошел, – вздохнул отец, – да годами еще не вышел...

Без сожаления, как меняют после бани ношеную рубаху, Сысой расстался с детством и отрочеством, перегоревшими в ожидании будущей жизни, и вышел в нее с паспортом на полгода, с пятивершковым окуловским ножом за голяшкой высокого поморского бродня и в тобольской шапке, по-казачьи заломленной набок. Высокий, худой, жилистый. В синих глазах – насмешка, чуть вьющиеся волосы стрижены в скобку. На вид все двадцать лет, по паспорту – семнадцать, от рождения же только семнадцатый. Ему предписывалось вернуться до ледостава. Вторым в тягло был отправлен его дружок и погодок Васька Васильев.

* * *

Текли, катились новые времена из-за Урала каменного по Сибири-матушке и никому, наверное, не томили так душ, как старикам Кольванских рудников, помнившим лихие времена Акинфия Демидова. Наверное, потому рудокопы легко снимались с насиженных мест, уходили в глушь, подальше от полурусской речи, заморских нравов, накладных волос с бантами на мужских затылках. Но и там нагоняли их новые порядки. Кто не мог испоганить душу – заливал ее зеленым вином и глотал рудничную пыль по штольням. Кому не удавалось ни смирить ее, ни испоганить – бежали к праведным скитникам, скрывавшимся в горах.

Прошке Егорову шел семнадцатый год, но ростом был с мужика и в плечах широк, разве жидковат еще телом. Ему и горная школа была в тягость, и отчий дом чужд, и со сверстниками – тоска: только в пенсионном квартале, у деда своего, он чувствовал себя человеком.

Отец говаривал, что дед, как и Прошка, от века непутевый: смолоду за фартом гонялся, с рудознатцами шлялся, соболя промышлял и на дорогах пошаливал, а достатка к старости не нажил. Но Божьим попущением попал он в удачливую экспедицию берггеншворена Филиппа

Риддера, за что тот, выйдя в генеральский чин обергитенфервалтера, выхлопотал ему царский пенсион. Иначе сидеть бы старику на сыновних шеях, хотя они видели его раз в три года на Святую Пасху, и то пьяным.

Дед любил прихвастнуть: не видать бы Фильке Риддеру ни золота, ни серебра, если бы он, Митька Егоров, не показал ему старые чудские выработки в верховьях Ульбы-реки, открытые беглыми рудознатцами, скрывавшимися у Акинфия Демидова. Люди, глядя на него, диву давались, как у такого варнака дети вышли в горные чины. Он же к сыновьям в родственники не набивался, поселился при руднике задолго до них, переведенных со Змеиногорских выработок. Смушался, когда по праздникам, надев мундир унтерштейгера и чуть кивая на поклонь бергаеров, Прошкин отец с женой в семи юбках шел в церковь и там становился в первом ряду по левую руку от господина рудничного пристава.

Родительской ласки Прошка сроду не знал. Сколько себя помнил, мать поглядывала на него со страхом, как на залетного татя. Чуть что, подождет губы и припомнит, что последыш и на свет-то явился не по-христиански – ногами вперед. С другими тремя сыновьями и двумя дочерьми она была иной.

Говорили, трех лет от роду Прошка перегрыз бечеву на отцовском мундире и проглотил ключ от подземной камеры, где запирали на ночлег каторжных. Фатер перерыл весь дом, но ключ не нашел и по учиненному следствию был порот за неряшливость к казенному имуществу. А когда на его глазах последыш, кряхтя и тужась, испражнился ключом в четверть фунта, унтерштейгер разинул рот, пробормотал, почесывая поротое место:

– Доннер ветер! С таким отпрыском загремишь кандалами на нижних горизонтах.

С тех самых пор если он и смотрел в сторону своего младшего сына, то с такой печалью, что на того сразу нападала зевота. И все в доме ждали от Прошки пакостей, о каких он не помышлял. Дома и в горной школе пороли с вожделением. Только дед понимал внука: одной они были породы.

На зависть всей школе его дед был сед, как лунь, и прям, как оглобля, из бороды крючком торчал сломанный нос, за кушаком клацал кистень. Идет, бывало, по улице, и вдруг случится драка: бергалы гульной недели отдыхают. Дед никому слова не скажет, а вокруг – тишина. Поговаривали, его даже рудничный пристав побаивался.

– У нас, Прошка, искони в роду все дерзкие, как ты да я, – любил порассуждать дед, сидя возле камелька в своей полуземлянке. – Нам со служилыми тесно, с пахотными скучно. Нам волю подавай! Это я, грешный, породу испортил: бабка твоя из холопок. В нее и сыны пошли... А я как увидел, что из Сибири делают бергамт, так в бега! – Дед начинал злиться, бегать вокруг каменки в своей тесной полуземлянке. – С кем живем? Приписные да крепостные... И зовут себя не по-людски: бер-га-еры! Срамотишша! – вопил, распаяясь. – Онемечились! От бергала до генерала – все холопы. – Он умолкал на миг, вспомнив, что его покровитель Филька Риддер вышел в генеральский чин и фамилия ему досталась от пленного шведа, записанного в сибирские крестьяне. Недолго замявшись, он снова начинал кричать: – Где она, воля, в царстве-государстве? От холопов до царей все в крепости!

Устав, падал на нары, кашлял, плевался, начинал поносить или жалобно причитать, что сила уже не та и грехов много, да и пенсион...

– Куда мне, дряхлому? – вздыхал. – А ты беги! Слышно, где-то рядом Беловодье.

– Бежим вместе! – просил Прошка. Жутковато было уходить в тайгу одному. – Ты еще крепкий!

– Сил-то, может, и хватит, – всхлипывал, – веры не стало. А без нее какой побег? Найдешь нашу землицу, замолвишь там за меня слово. Коли примут грешного – дашь весточку. Уж тогда хоть на карачках, а приползу.

И начинали разговор старый с малым, от которого у Прошки захватывало дух, и радостно грезилась предстоящая жизнь. Дед снимал со стены старый медный крест фунта полтора весом.

На нем был след от калмыцкой стрелы и зазубрины по краю: похоже, крестом пользовались вместо кистеня. Из-под нар дед вытаскивал мушкетон с раструбом, давно завещанный внуку после кончины.

– Крест нужен в пути, – наставлял дед, – чтобы не забыться среди чужих народов, мушкетон, чтобы оборониться от них... И вот еще, – снимал с себя опояску с крючковатыми старорусскими крестами, – без этого, говорят, Беловодье не примет.

Среди старообрядцев соседних деревень ходили слухи, что безгрешные на хорошем коне успевают за одно лето побывать в Беловодском царстве и вернуться.

– Девку с собой возьми! – поучал внука. – Сколь ни выспрашивал, никто толком не знает, есть ли там свои бабы и всем ли их хватает. Не приведи бог, по мужицкой нашей слабости смешаешь кровь с калмыками или еще с кем, и тебя и меня проклянет раскосое потомство... И на кой оно, если на нас с тобой походить не будет? Ульку-бергалку возьми. Я ее бабку-каторжанку знал – лихая порода!

Щеки у Прошки налились румянцем. Его ровесница, дочь вдового откатчика, в прежние годы не нравилась ему: долговязая, волосы и брови в цвет соломы, конопушки по щекам, круглые настороженные глаза всегда что-то высматривали, чуть что не по ней – лезла царапаться. Но осенью он увидел ее на пруду: высоко подоткнув сарафан, она полоскала белье с мостков. Глянул Прошка на ее белые ноги – и заколотилось сердце, испарина на лбу выступила.

– А чего она со мной пойдет? Улька уже с бергалами гуляет, – пробубнил, смущенно отворачиваясь от деда.

С тихим смешком старый что-то вспомнил, на миг задумался, и лицо его посежлось паутиной добрых морщин:

– Я знаю приворотное слово к этой породе. Подойдешь, когда будет одна, скажешь: бегу, мол, в Беловодье, пойдешь со мной – будут тебе золотые сережки с камнями, как у приста-вихи.

Встретить девку одну оказалось непростым делом. Прошка так часто крутился возле казенного барака, где она жила с отцом, что его стали примечать соседи. Ульяна же будто избегала встреч. Но в апреле, при хрустко застывавших к вечеру лужах, он увидел ее на крыльце ветхой бергальской избушки с двадцатилетним забойщиком Яшкой Боровом. Яшка пытался потискать девку, она не попискивала, не вырывалась, как принято у сверстниц, смотрела на бергала немигающими глазами – и Яшка терялся, смущенно сопел, ругал ее змеей.

В избе веселились холостые горняки и рудничные девки. Пьяный хозяин валялся под окном, уткнувшись носом в шахтерскую парусиновую куртку. Были сумерки. Прошка подкрался ближе. В доме истошно завопили, призывая на помощь, видно, началась обычная драка. Дюжий забойщик оторвался от Ульки, кинулся разбираться. Она, кутаясь в шалейку, сошла с крыльца, перешагнула через пьяного хозяина, зевнула, скучно глядя в темень. Тут Прошка и вышел из-за угла.

– За бергала замуж пойдешь? – спросил приглушенно.

Ульяна вздрогнула, обернулась, рассмотрела, кто говорит с ней, и презрительно скривила губы:

– Не за тебя же, титешного! – Отвернулась, плотней кутаясь в старенькую, матерью ношенную, шаль.

– Твой бергал сопьется или в шахте сгниет, – пробасил Прошка, напрягаясь, чтобы не дрогнул голос, – а я в Беловодье ухожу... Дед карту дал, – приврал и срывающимся голосом выпалил: – Титешный – не титешный, а пойдешь со мной, через год будешь носить сережки, как у генеральши.

Улькины надбровья с невидимыми желтыми бровями поползли вверх. Прошка подумал – расхохочется, но она взглянула на него так, будто он на ее глазах вырос на полфута. Не дожи-

даясь, что будет дальше, унтерштейгеровский последыш скрылся за тем же углом, из-за которого вышел.

Через неделю Ульяна нашла его в пенсионном квартале у деда. Раскланялась у всех на виду:

– Здравсте, Митрофан Парфеныч, доброго вам здоровьица! – и, стрельнув на Прошку глазами с каторжанским прищуром, одними губами спросила: – Когда уходим?

Была середина мая, цвели пострелы и лютики, в низинах дотаивали последние черные скукожившиеся сугробы, и парили, прогреваясь на солнце, рудничные отвалы. По вскрывшимся рекам несло зимний сор, из-за горного хребта восходило радостное весеннее солнце и отливало пламенем на белых снегах, лежавших по склонам. Жутковато было из весеннего тепла возвращаться в зиму. Но где-то в той стороне была воля.

Не только Прохор Егоров поглядывал на белевшие перевалы. Среди бергалов тоже началось обычное весеннее оживление: кое-кто втайне подумывал уже, а не послать ли свое тягло ко всем чертям и не рвануть ли подальше от рудников, хоть бы и беспаспортным? Тайга прокормит! Настроения эти издавна были известны начальству. К июню, когда начинались побегии, на горных тропах выставлялись казачьи караулы. Беспаспортных юнцов, приписанных к руднику, они тоже могли задержать. Дед советовал уходить пораньше.

Припас еды Прошка загодя спрятал в лесу, а после, когда сошлись с Ульяной в условленном месте, уложил его в козлиную шкуру, снятую чулком. Волоком они потянули груз по сухой траве. Девка оказалась жилистой и работающей, наравне с Прошкой тянула припас, не жаловалась на усталость, но брыкалась и злилась от того, что путалась ногами в полах суконной поневы, за которую цеплялись сучки и кустарники. Прошке дедов крест, болтавшийся на шее, отбил живот. Пришлось снять его и вместе с мушкетонном уложить в козлиную шкуру.

К вечеру первого дня они дошли до старой пасеки на берегу горной речки. Крыша из дерна, низкий проем двери, каменка по-черному. Прохор стал таскать дрова, Ульяна все так же молча замесила тесто в жестяном котле. Спать легли на нарах, укрывшись верхней одеждой. Прошка ворочался-ворочался, мостясь поудобней, невзначай запустил девке руку за пазуху. Она больно лягнула его. На том договорились: прижались спина к спине и уснули.

На другой день под осыпью Прохор загнал под камни пьяного еще от зимней спячки барсука и убил топором. Жир был не потерян зверьком, и они натопили его половину котелка. Старовера или приписного крестьянина под кнутом не заставишь есть такую дрянь, но они были и тому рады: рудничные – народ неприхотливый, в еде неразборчивый.

Рано вышли. Слежавшийся снег по берегам вскрывшейся реки висел над водой отвесными стенками в полторы сажени высотой. Там, где летом можно было легко пройти, приходилось прорубаться топором. Ульяна, путаясь в полах мокрой поневы, бранно ругала не понять кого. Намучившись, вытащила из козлиной шкуры запасные Прошкины штаны, зашла за куст и вышла оттуда в портках: ни девка, ни парень.

Под перевалом снег был тверд и гладок. Припас по нему скользил легко. Здесь кончались Кабинетские земли, по другую сторону – уже калмыцкие улусы, где можно не опасаться рудничных казаков и отдохнуть. Беглецы думали, что обошли все посты и секреты, но как только выбрались на седловину, увидели сырую проталину, а в полуверсте – оседланных лошадей. И оставалось-то немного ходу, а там, на снежном склоне, на конях их уже не догнать. Ульяна без слов поняла, что надо делать, изо всех сил налегла на бечеву, помогая волочь припас. Но снег на солнечной стороне раскис, они увязли, проваливаясь по пояс, а когда выбрались назад – дозорные их заметили, сели на коней и зарысили наперерез.

Прохор торопливо распутал узел на шкуре, вытащил заряженный мушкетон, подсыпал пороха на полку, накрутил пружину колеса. Дозорные осадили коней в десяти шагах, озадаченно разглядывая ранних бродников: одеты как рудничные, но молоды еще, чтобы бегать от контрактов, тягловых работ и каторги. Должно быть, крестьянские недоросли из старообряд-

ческих деревень шляются по скитам. Упрямства и непокорства ни им, ни отцам их не занимать: у одного рожа варнацкая, мушкетон в руках, другой с топором.

– Кто такие? – важно прикрикнул молодой казак.

Прохору его лицо очень не понравилось, и он перевел раструб мушкетона, целя ему в голову.

– Воды в рот набрали? – напирал казак, но голос его подрагивал. Он поддал пятками коня под бока, заезжая со спины на беглых, и ахнул: – Да это же девка?! – потянулся к Ульяне, чтобы схватить за спрятанную косу. Она замахнулась топором, ударить не решилась, но укусила всадника за руку. Молодой заорал, чуть не вывалившись из седла. Конь отпрянул: – Ну и дура! Ну и зверюга! – затряс рукой. – Сквозь одежду прокусила до кости.

Ульяна, отплеываясь, приготовилась к новому нападению. «Знал дед, кого присватать в связчики», – подумал Прохор, перекрестился и выстрелил бы, но старый казак, посмеиваясь, развернул коня. Молодой, матерясь, зарысил следом. Видимо, решили, что, если приведут недорослей на рудник, их засмеют, за рану от девки – того хуже.

Прохор с Ульяной, не теряя времени, поволокли припас следом за всадниками до темной пади. Там вышли на снег, где наст держал, и скатились вниз. На сухом месте без опаски они почаявничали и пошли дальше, чтобы засветло успеть добраться до скита: на ночь глядя старцы не могли выгнать гостей, хоть бы и девку.

С самого начала Ульяна терпеливо тянула свою лямку, готовила еду и ночлег. Бывало, иногда веселела, начинала посмеиваться и петь. Но в тот день, после полудня, непонятно отчего злилась, Прошке казалось, только и ждет, как бы разругаться. Он часто останавливался и вертел головой по сторонам, все приметыв, по словам деда, совпадали: где-то рядом, в одной из двух падей, был скит. Прохор потоптался на месте, плюнул на ладонь, ударил ребром другой: куда брызнуло, туда и потянул припас. Тут Ульяна и дала себе волю, раскричалась, как недоеная корова, дескать, Прошка и дурак, и сопляк...

– Заткнись! – неприязненно выругался он, бросил бечеву и налегке, с мушкетонном в руке, хлюпая и чавкая броднями, переправился через болото.

Выйдя на сухое место, снял обувь, вылил воду, настелил свежие стельки из сухой травы и полез в гору. Сверху, среди могучих кедров и причудливых скал он увидел четыре крыши, обнесенные высоким частоколом, и Ульяну, сидящую на валежине, в другой стороне. «Пусть дурак с такой змеей венчается! – подумал. – Скажу старцам, что сестра».

Тобольским бурлакам было наказано сдать груз, взять соль и вернуться сплавом, но все вышло иначе. Чтобы получить соль, половине тоболяков пришлось тянуть дощаник до Усть-Каменогорской крепости, а Сысою, любопытному до отдаленных мест, и вовсе до рудничного поселка. Не дождавшись его в обещанное время, Васька Васильев и тобольские бурлаки уплыли вниз по Иртышу с последним караваном. Сысой в рудничном поселке опился водкой, к которой не имел привычки, устроил веселый дебош и мордобой с бергалами, утерял паспорт вместе с шапкой и по приказу рудничного пристава был отправлен до выяснения в Бийский острог.

Издали несет свои воды Иртыш. Далече на закате – исток Тобола. Где-то на Калмыцкой стороне начинается Обь. И какие бы преграды ни встретились на пути, будет день и – сойдутся их воды, чтобы, перемешавшись, уйти в океан. Для чего так – одному Отцу Небесному ведомо. И судьбы людские, как реки. Еще ничего не зная друг о друге, в одном месте сошлись люди, которым предстояло многие годы быть вместе.

На изломе сентября, на Трофимовские вечерки, когда молодежь собиралась на посиделки у какой-нибудь вдовы и поцеловать девку за грех не считают, Сысой сидел на нарах в казенке и, томясь скукой, разговаривал с беглым учеником из рудничных мещан с того же злополучного Риддерского поселка.

За окном, затянутым бычьим пузырем, то стучал дождь, то крупными хлопьями падал снег. В острожной тюрьме неволей отсиживались еще двое: здоровый мужик с богатой бородой до пупка и седобородый старовер какого-то сурового толка, день и ночь молившийся в углу. С беглым сыном горного мастера привели девку с того же рудника. Хотели отправить ее домой с обозом, но она упала на спину посреди двора, закричала и задрогалась: «Лучше убейте, не пойдут мои белы ноженьки на позор!» Казаки силком подняли ее, бросили на телегу, она снова брыкнулась на землю и ну орать. Десятский пригрозил выпороть плетью, но позорить девку не посмел, оставил кашеварить.

Сысоя острог не пугал: велика потеря – почти просроченный паспорт! У Прошки вина тяжелей, а он не печалился: написал прошение дедову покровителю генералу Риддеру на Барнаульские заводы и Бийскому коменданту, бил челом – поверстать в казаки, чтобы не возвращаться на рудник. Он рассказывал, что бежал отсюда с рыжей девкой в раскольничий скит. Сысой, затаив дыхание, слушал о таежных скитаниях одногодка, и свои воспоминания о бурлацком походе начинали казаться ему пустячной забавой.

С мая по сентябрь Прохор с Ульяной ходили от скита к скиту, наставляемые старцами. В пути чем могли помогали скитникам по хозяйству, пока по желтому уже листу опять не вышли на Кабинетские земли под Бийском. Остановились они в зимовье старца Анисима, в местах, незадолго до того приписанных к Кабинету. Старец и карты показал, и метки, и засеки. По этим знакам много беглецов ушло в Беловодское царство. Со дня на день должны были уйти Прохор с Ульяной. Но, Бог помог, они случайно задержались, и в тот день в зимовье явился длиннобородый Терентий Лукин, бросился на старца с проклятиями.

Терентий родился на землях ляхов в староверческой общине, ушедшей туда еще при царе Петре-антихристе. При добрейшем государе Петре III община вернулась на Русь и ушла в Сибирь, расселившись по горно-таежному Алтаю, в местах, для хлебопашества неудобных, зато вольных, богатых травами и зверем. Как только люди отстроились и стали богатеть – начались притеснения от власти. А когда царя подменили женой-немкой – закон о веротерпимости стали толковать, как писанный для латинянских еретиков, а не для своих природных русских людей.

Терентия же с малолетства влекли суровая жизнь скитов и вольная страна – прародина всех русичей. Не сразу и не вдруг нашел он старца Анисима, знавшего туда путь, был у него в послушниках, почитал как святого. Ушел. Пересек и калмыцкие пределы, и Китай с великой рекой, вышел на берег моря. Про Беловодье здесь не слыхивали, но про колонии белых людей близ города Гуанчжоу говорили. Пришел туда, увидел шпиль костела, бритые щеки папистов, плюнул и повернул на полночь, потому что на юге китайцам были известны все страны. Он шел берегом моря полгода, переправился через Амур, чуть жив, тайгой, выбрался к своим. Видел, бегут навстречу люди в бородах, ичихах, подумал: вот оно, чудо долгожданное. Но был подобран забайкальскими казаками, назвался старовером, вышедшим из чужих пределов по царскому зову, получил бумагу на год, чтобы определиться с местом жительства, и отправился к старцу Анисиму плюнуть в седую бороду.

Руки Анисима тряслись, голова дергалась: он мог бы и сам уйти в Беловодье, но жизнь положил, чтобы другим облегчить туда путь... Греховная обида колола сердце старца. Он раскрывал сундуки, доставал карты, документы, деньги давно ушедших людей, бросал их к ногам Терентия: смотри! Все в целости, копейки чужой не присвоил!

А тот дурным голосом орал:

– Кресты по всему пути. Никто живым не дошел. Душегубец!

К вечеру Анисим занемог, охая, помылся, переделся в смертное и лег, решив запоститься, не принимая воды и еды. Прохор с Ульяной пробовали отговорить старика, но скитнику помогала судьба: среди ночи он стал совсем плох, поднял качавшуюся голову, призвал живых. Глянул на него Прохор, понял, что старик умирает, побежал за Терентием, храпевшим

в бане. Тот отнекиваться не стал, остыл уже, пришел к старцу. Анисим поманил его слабой рукой, прошептал на ухо:

– Открылось мне, брод через море должен быть! – И умер.

Терентий отпел его со знанием дела, Прошка выкопал могилу возле зимовья. Едва похоронили старика и поставили крест, к зимовью подъехал казачий разъезд. Беспаспортных, Прохора и Ульяну, забрали, Терентий сам пошел следом, не зная, куда теперь идти.

Еще один старовер в рубахе до колен и стоптанных ичигах бежал из Забайкалья на запад, был взят без паспорта на Кольванской линии. Он в разговоры ни с кем не вступал, больше прислушивался, за полночь становился на молитвы начальные и с короткими передышками читал на память всю пятисотницу, отбивая земные и поясные поклоны. Терентий то и дело пытался с ним тягаться, но долгого бдения не выдерживал, падал на нары и спал до рассвета. Сысой, совестясь, тоже становился на молитву. Прохор, хоть и жил со скитниками, зевнет, перекрестится, глядя в сторону, то двуперстием, то щепотью, и ладно. Так прошло несколько дней.

Вдруг упорно молчавший седобородый заговорил, будто сухой горох из куля посыпался. Был он какого-то особо строгого толка, за что Терентий дразнил его непристойно. Выяснилось, что забайкалец тоже пробирался в Беловодье, но на запад. Он и начал насмехаться над всеми ищущими на Востоке. Его насмешки задели за живое Терентия, и тот со сдержанной злостью стал рассказывать про жизнь русских общин в Польше. От отцов и дедов слышал о праве первой ночи для шляхты, об аренде поместий жидами, о рабстве беспросветном во всех западных странах. Этими рассказами сам на себя нагнал такую тоску, что злость прошла.

– Коли хочешь жить по старине, без ереси и бахвальства, нет тебе места на земле – сказал, пригорюнившись. – Разве Ирия примет, а она – за океаном. Здесь от моря до моря все пройдено. На Руси и в Сибири плохо, в других странах того хуже.

Седобородый вырос в семье, где считали, что на Западе все хорошо, а здесь все плохо и иначе быть не может. Не говорили только и не вспоминали, отчего по первому зову московского царя природная русь побросала все нажитое и вернулась. У седобородого не было ничего, кроме стоптанных ичиг и веры. И вот пошатнули ее. Борясь с сомнением, он скрежестал зубами: «Господи, укрепи и избави...» Бегал по узилищу, понося весь белый свет. Потом устал, затих, лег без молитвы и среди ночи умер. В полдень его отпел раскосый, косноязычный острожный поп и предал земле. На могиле поставили восьмиконечный крест, мирящий всех православных.

Как-то утром, приглашая заключенных на похлебку, казак смешливо подмигнул Прохору. В полдень Ульяна, сияя глазами и бросая на дружка ласковые взгляды, накрыла стол прямо в казенке: беглецов уже не запирали. Вскоре к ним вкатился кругленький, как шар, хмельной и румяный купчишка в бобровой шапке, с выбритым лицом.

– Кто здесь тобольский? – спросил, посмеиваясь и одышливо пыхая.

– Ну я! – слез с нар Сысой.

– Тоболяки знают, какие деньги за морем гребут. Половина ваших купцов там разбогачела... Про бот «Святой Николай», про тобольского купца Мухина слышал ли?

– Слышал, да только когда это было! – насторожился Сысой.

Его ответ разочаровал купеческого приказчика, он посмурнел, вздохнул, вытащил из кармана штоф, попробовал схватить за подол сновашую возле стола Ульяну и, плутовато глядя ей вслед, прокряхтел:

– Я ему предлагаю стать самым богатым мужиком в Тобольске, а он... Теперь слушай! Завтра тебя из острога турнут, так ты подумай, что лучше: с задатком и с новым паспортом по Московскому тракту на Иркутск или без копейки в обратную сторону.

Обернувшись к Терентию с Прохором, стал объяснять с важным видом:

– Компания именитого якутского купца Лебедева-Ласточкина нанимает промышленных и работных бить зверя на островах при полном компанейском содержании и половинном пае с добытого. Контракт на семь лет. – Гость обернулся к Сысою: – Что скажешь, тоболячок?

Тот скрипнул зубами и сглотнул слюну:

– Думать надо!

Приказчик разочарованно повернулся к Прохору с Терентием:

– А вы как?

Прохор взглянул на Ульяну, ее лицо пылало. Он подумал, если откажется – Улька опрокинет котел ему на голову. Да и чего бы ради он отказывался?

– Нам что? – пробасил срывающимся голосом. – Нам хоть куда, лишь бы подальше от фатер-мутеров и бергамта.

Торговый захохотал:

– Твоей роже пудренные букли не к лицу!

– Бери и меня! Заграничный поселенец Лукин Терентий, сын Степанов. Грамотный. Видалец. Китайский и урянхайский говор знаю. Единоверец! – приврал, скрыв свой староверческий толк.

– Такие нам нужны! – кивнул приказчик, разливая по чаркам царскую водку.

Пить зелье Терентий не стал, присматриваясь к гостю, думал: «Ты меня через море перевези, а там – ищи ветра в поле!»

Сысой нутром своим почувял, где-то там, с этими людьми его судьба, но исчезнуть на семь лет, не испросив родительского благословения, не мог и, опустив голову, пролепетал «нет!». Будто клочок мяса отодрал от тела.

Под Тобольском Сысой узнал от земляков, что умерли дед и баба Дарья, а Аннушка вышла замуж за Петьку Васильева, старшего брата дружка и связчика Васьки Васильева. Дед никогда не болел, не был обузой. Говорили, приехал с поля, мучаясь грудной болью, сказал, что умрет, послал за попом. Исповедался, причастился, радуясь, что отходит со спокойной душой, оставляя дом на матерых сыновей. Старшего благословил вместо себя, жене сказал, чтобы не убивалась, не спешила за ним. С тем и отошла душа от тела, окруженного любящими родичами: будто на другого коня пересела и умчалась ввысь, приложиться к предкам. Говорили, Дарья Ивановна на похоронах несильно-то печалилась, голосила для порядка. Отсуевившись на сороковины, заохала, призвала отца Андроника с внуком Егором и отошла следом за мужем.

Сысой явился на Филипповки, к началу поста. Дождавшись темноты, пришел не с площади, а протиснулся через черный лаз со скотных дворов. Раскрыл дверь, крестясь и кланяясь. Запричитала, бросилась к нему мать, как квошка, закрывая спиной от отца. Филипп посидел, хмуро глядя на сына: драный зипун с чужого плеча, чуни из невыделанной кожи, голова покрыта каким-то шлычком.

– Ладно, – сказал, вставая и покашливая, – драть бы надо блудного, но пост... Поцелуемся, что ли? – И посыпались изо всех углов братишки и сестрички, племянники и снохи.

Напаренный, приодетый, гордый богатой памятью недавних скитаний, Сысой сидел в кругу семьи, запуская зубы в пирог, снисходительно поглядывал на отца, дядю, братьев, таких родных, прежних, похожих друг на друга. Сам же ощущал себя переросшим их всех и пустота, глодавшая душу в прежние годы, уже не так донимала сердечной тоской.

– Непутевый ты у нас, – вздыхал отец. – От самого рождения такой... Может, женить тебя? Даст бог, прикипишь еще к земле. Теперь и служилым нельзя забывать корни: по царскому указу – служба двадцать пять лет, а не до сносу, как раньше. Отслужишь, еще не совсем старый. И куда потом? – поднял на сына глаза, с тлевшей в них надеждой на чудо. – Анка твоя замуж вышла, до Покрова еще, – продолжал в задумчивости. – Петька Васильев тоже был шалопаем, теперь справный мужик: в любой работе – первый!

– Собака! – скривился Сысой.

Отец стукнул кулаком по столу, напоминая, что день постный и с греховными мыслями надо быть построже. Сысой опустил голову, жалея его.

– Высмотрели уже кого? – спросил смиренно.

– А Феклу Мухину! – дядька Кирилл, смахнул на плечо бороду, заерзал по лавке, отец повеселел, теплей поглядывая на сына.

– Купчиху, что ли? – усмехнулся Сысой.

– Ты про кого думаешь? – наперебой заговорили отец, дядька и мать. – Мухины – старого крестьянского рода. Только при царице Лизавете записались в посад да в торговые. Купцу Ивану дед Феклы был троюродным братом, а нашему батюшке дядей. Она же купцам родня, как Серко-коту: только что с одного двора.

Мать стала обстоятельно рассказывать:

– Маруська, мать Феклина, в молодости была красавицей. В девках ее не помню, а как первый раз овдовела – все на моих глазах. За купцом была, того на охоте застрелили. Второй раз за мужиком – тот сам помер. От двух мужей остались две дочери. Потом она долго замуж не шла. Как-то, прослышав про ее красоту, приехал дворянин, да не наш служилый, а московский: морда бабья, волосья в косу собраны, штанишки коротющи, в обlipку, срамное место напоказ, обутка бабья... Посад хохочет, а он на Маруську поверх забора в стекло поглядывает. Та как увидала его – собак спустила, сама от стыда пряталась в погребке. За тридцать уж было, когда стал обхаживать ее дядя нашего батюшки Андроника. Уговаривал идти за своего младшего сына, за пашенного. Она не хотела третий раз. А тот заговор знал, взял ее за мизинец и уговорил. От того замужества родилась Фекла, потому-то дочь молода, а мать стара.

К средней дочке как-то зачастил купец, стал свататься, а Маруська – нет, и все. Купчине, говорит, девку не дам. Он сегодня богат – завтра гол. Пусть за крепкого мужика идет. А девка-то ее лихая была, уговорилась бежать без благословения. Купец на тройке подъехал, когда Маруська в бане парилась. Так старая, прости господи, голой на тракт выскочила, повисла на оглоблях и девку не отдала.

Сысой слушал знакомые предания с ленцой, через слово, а перед газами покачивался удачливый бот «Святой Николай». Двадцать лет ходила по Тобольску сказка о богатой добыче, которая была так велика, что десять купцов-пайщиков перегрызлись при дележе и продали все разом, разделив деньги. Вспомнил он и тетку Маруську из посада, бабу злючую, вспыльчивую и властную.

– Сказывают, она ведьмачит! – с сомнением покачал головой.

Родня замолчала, раздумывая о слухах.

– Тебе не с тещей жить! – ободрившись завязавшимся разговором, сказал отец. – Девка-то и красива, и покладиста, и работяща.

– Говорили, ведьмачит! – вздохнула мать. – Трех мужей пережить... Ого! Но со зла все слухи. Она многих посадских лечила заговорами и травами. А чтобы кому что дурное сделала явно – того не было. И когда к нам приходила, я ей соль на след посыпала, кочергу положила под порог – переступила, не заметила...

– Ведьма – не ведьма, а вдовица, – тряхнул бородой дядя, – да еще не одним браком. Не бери, говорят, кобылицу у ямщика – изломана. Не бери девицу у вдовицы – девица у вдовицы избалована...

– Соседи сказывают, сильно работящая девка, – как дед когда-то, положил на стол тяжелую ладонь отец.

– А чего это Мухина к нам приходила? – спросил Сысой.

А крест твой носильный нашла, что на Троицу утерял...

Завыл пес в подворотне, зашуршала метла за печкой. После того случая у реки Сысой невзначай встречался с посадской девкой Мухиной. Она смущалась, прятала лицо, постреливая на него большими синими глазами, и он при тех встречах чувствовал себя неловко. Удив-

ляясь странному томлению души, подумал: «Судьбу на лихом коне не объедешь». Настораживая родню необычной покорностью, вздохнул:

– Как решите, так и будет. И жениться большой нужды нет, и отказываться не для чего...

Если жить, как вы!

И опять, озадачив всех, спросил:

– А купец Мухин Иван живой ли?

– Давно помер! – ответил дядя, удивленно поднимая брови: – Он ведь старше твоего деда.

Случайно помянув новопреставленного Александра Петровича, все встали, начали креститься и кланяться на образа.

Ушли старики в другой мир, и ничего не изменилось в доме. Теперь Филипп Александрович садился на хозяйское место под образа, требовал, чтобы трапеза шла пристойно. Его жена Феня собирала домочадцев на молитвы, следила за соблюдением праздников и обрядности.

Филипп, в делах и заботах, крестился наспех, а то и отлынивал от молитвы. Феня стыдила его, молилась за грешного, и он, совестясь, покорно вставал к образам, поднимал руку ко лбу, да, бывало, застынет так, а то еще и обернется, не опуская щепоти:

– Федька, куда хомут дел? – шипел на сына.

– На место клал, – шепотом оправдывался тот, – Данилка после кобылу запрягал.

Филипп, все еще со щепотью у лба, глядел в другую сторону и приглушенным голосом костерил племянника. Затем, оправдываясь перед женой, поворачивался к иконам, крестился быстрее, ревностней, кланялся глубже и чувственней.

Утром, чуть свет, выводили из конюшни теплых, дышащих паром лошадей, запрягали в сани, растворяли тяжелые ворота и выезжали на восход, кутаясь в теплые шубы и тулупы, ношенные дедом и прадедом. Синел снег, потом алел. Где-то за урманом, за морями вставала на крыло птица зоревая, рассветная, тропила путь солнцу, пускала золотые стрелы от Камчатки до Чухонских болот. Их блеск бередил души.

Впереди обоза – Федька. У него сильный жеребец. Следом – Данилка на кобыле, лежит в санях на подстилке из соломы, поигрывает кнутом. Последним ехал Сысой. Скрипели под ним полозья. Сквозь заиндевевшие ресницы он смотрел на диск восходящего солнца: и хорошо ему было, радостно, и томила душа дальним, непонятым зовом.

От торной дороги до копен среди березовых колков – саженой сто. Поле замечено снегом в полтора аршина – к урожаю. Федька хохочет, правит жеребца в сугробы, тот воротит к нему сивую, обметанную куржаком морду: не сдурел ли хозяин? Затем рывками, увязая по брюхо, прыгает, высоко выбрасывая ноги, храпит, тянет сани, подбадриваемый Федькиными криками и шелканьем бича. По неровной рытвине, напрягаясь, идет Данилкина кобыла. Сысоеву коню и того легче.

Мерно скользят сани, груженные сеном. Пахнет летним травостоем и стужей. Поднялось солнце, зазолотилось на небе. Холодок студил взмокшую от работы спину, от дыхания леденела овчина. А в доме готовились к встрече работников: булькало варево, пахло пирогами. Федькина молодуха то и дело выскакивала на крыльцо, высматривала, не появится ли обоз.

После Рождества были сговор и смотрины, на которых Сысой толком не разглядел присватанную девку, потом – рукобитье, вскоре молодые венчались в приходской церкви. Не успела теща разорвать надвое девичью ленту, Сысой, с лютой тоской в груди, бросил невесту, не обращая внимания на тычки родни, подошел к чудотворной иконе, поставил свечку, перекрестился, приложился и подумал: «Нет, не может быть кончена моя жизнь!»

В клетки для молодых натопили чужал, над постелью навешали иконы, по углам воткнули стрелы с беличьими шкурками. Отец с матерью, дядя с тетей расцеловали молодых, крестя и благословляя, отвели в приготовленную комнату и оставили у постели при свечах и святых ликах. Устав от торжеств, не говоря друг другу ни слова, не радуясь и не смущаясь, словно замороженные долгим обрядом, готовившим к последнему шагу, они перекрестили друг друга,

впервые поцеловались наедине без всякой страсти, задули свечи и при свете лампы присели на мягкое ложе.

Фекла уснула первой, робко прижавшись щекой к плечу мужа. Сысою показалось, что он только на миг закрыл глаза, а когда открыл их, увидел почти незнакомую молодую женщину, сидящую среди подушек. Ее длинные волосы рассыпались по постели, из них торчал остренький носик «русалки», над которой он хотел ухарски пошутить две весны назад. Будто давний сон вспомнились ночные неумелые ласки и пробудили юношескую страсть.

Скрипнула дверь, в комнату мышью проскользнула морщинистая теща, показавшаяся в темноте и вовсе старухой. Просеменила к выставшему чувалу, раздула огонь. Фекла, подхватив рукой сноп волос, спряталась под одеялом. Но теща, бесшумно и бесцеремонно содрала с нее сорочку, выскользнула за дверь. Сысой прижал к себе обнаженную жену, она жалобно застонала, змеей выскользнула из его рук, оделась и стала торопливо заплетать волосы в две косы, поглядывая на разочарованного мужа большими бесхитростными глазами.

На теплой половине раздались вопли, грохот бьющейся посуды. Шумно ввалилась в клеть родня, стала тормошить, целовать, поздравлять молодых. Отбившись от них, Сысой зарылся в постель с головой и опять уснул. Его насильно растолкали чуть ли не к полудню: выставляла баня.

Жена ему попалась работящая, даже слишком. Вставала ни свет ни заря, громыкала горшками, помогая свекрови, хоть та и старалась загнать ее в постель к мужу. Чуть рассветало, Фекла начинала с опаской будить мужа. Сысой удивленно смотрел на молодуху: не приснилась ли ему глупая свадьба и вся нынешняя жизнь? Пытался схватить ее за подол, затащить к себе, но жена настойчиво предлагала почистить скотник или сделать что-нибудь еще. Сысой с тоской и обидой глядел на нее, переваливался на другой бок не от лени, но от досады: не понимая, зачем надо было жениться.

Мало того, что жена поднималась первой, она еще и спать ложилась последней в доме, а засыпала, едва коснувшись головой подушки. После свадьбы прошло всего полмесяца, а кривая Сысоева судьба понесла его к нелюбимой, но ласковой солдатке. Сходил раз, после другого отец встретил с кнутом.

– Кобель блудливый! – закричал, выпячивая седеющую бороду. – Я те покажу, как от жены-красавицы к чужим бабам бегать.

Сысой перехватил кнут, непочтительно огрызнулся:

– Вам нужна была работяща девка, сами с ней живите! Мне проку от такой жены нет! Рыбину бы еще присватали?

Отец постоял, смущенно мигая, удивленно глядя на сына. Рука с кнутом ослабла и опустилась.

– А ну, садись, – кивнул на лавку, – рассказывай, что не так.

Сысой сел с независимым видом, пунцовый от волнения и негодования задрал нос. Его обступили: мать, дядя с тетей, женатые братья и снохи.

– Чего, чего... – пробурчал, гоня желваки по скулам. – Понедельник у нее – день тяжелый, пятница со средой – постные, суббота с воскресеньем – божьи.

– А других мало? – посочувствовал отец.

– Не петух я гоняться за ней по двору! – вскрикнул Сысой. – До полуночи носится, как угорелая, не успеет лечь – обомрет, что покойница, прости господи. Спозаранку опять за свое... Да лучше уж спать в обнимку с поленом, чем с такой женой.

– Эти ее, эту сватью, – озадаченно проворчал отец, почесывая бороду – у проруби девку родила, что ли?

Федька, толкая брата локтем, азартно давал советы:

– Ты щекотить-то с утра начинай, к вечеру аж запищит...

Мать шлепнула его по затылку, засуетилась:

– К батюшке идти надо. Он нам не чужой и Фекле родня.

Она разыскала сноху в птичнике, не дав ей переодеться, потащила к Андронику. Отец запряг коня в сани и поехал в посад к сватье. Фекла вернулась домой задумчивая и ласковая, в ранний час покорно забралась к мужу на полати.

– Что батюшка сказал? – с досадой спросил Сысой.

– Говорит, грех на душу беру, тебя к блюду подстрекаю, – грустно ответила она, покорно и терпеливо отзываясь на мужнины ласки. Потом долго ворочалась, зевала, вздыхала, стонала и не могла уснуть. Так продолжалось три дня. Дольше ни она, ни Сысой не выдержали, и все пошло, как прежде.

К Сырной неделе горожане выстроили ледовую крепость, и всякий их юнец насмеялся над посадскими: дескать, не только взять, на стену помочиться не дадим. Дошло до игр. Сперва молодежь задирали друг друга, дурачась да снегом кидаясь, потом парни и молодые мужики ввязались в ссору. После посадские и слободские стеной пошли на горожан. Покрикивали старики, подбадривая близких, голосили бабы, отгаскивая окровавленных мужей. Сысой, плечо к плечу с Федькой и Данилкой, весело рассыпал удары, распалаясь, косился на Петьку Васильева, дравшегося поблизости. Дьякон Егор при жене и ребятишках смотрел на бой с таким лицом, будто умирал от горючей тоски. Дьяконица в две руки держала его за рукав рясы, всем своим видом показывая, что будет волочиться, а в драку не пустит.

Сысою побили мало. Макнув городского «коменданта» в проруби, он еще чего-то искал, а когда мужики, кряхтя и охая, пошли пить брагу, увязался за дружкой Васькой Васильевым, братом Петьки, который женился на Аннушке. И в доме у них нехорошо паялился на нее, одетую в полудюжину юбок. Потом дрался с Петькой на скотном дворе при одном свидетеле – Ваське, не зная, что делать и кому помогать.

После драки Сысою полегчало. Стирая кровь с лица, он весело подмигнул Ваське, а к Петьке пошел с повинной:

– С праздником, что ли! Хорошо подрались, аж жить захотелось. Наверное, в последний раз уже. Прости, если что не так!

Петька заулыбался, кривя разбитой губой, повел в дом. Аннушка выставила расписную посуду, удивленно поглядывая то на мужа с Сысоем, то на Ваську. Одни побиты и веселы, деверь цел, а глаза как у побитого. Улучив миг, когда муж вышел, сказала Сысою при Ваське:

– Ты прости, если что не так вышло... Но мы с Петей хорошо живем, не мешай моему счастью.

Сысой опустил кручинную голову, молча покивал и встал из-за стола.

Васька провожал его. Они зашли в акцизку при тракте, заказали по чарке крепкой. Целовальник поворчал, где, мол, видано, парням водку пить? Но налил. Выпили. Сысою стало совсем хорошо, и вдруг почувствовал он, что настоящая жизнь впереди, а совсем не кончена, как иногда казалось ночами рядом с неласковой женой.

– А не махнуть ли нам, Вася, на Аляксу, на самый край белого света? Помнишь, собирались? – рассмеялся, вспомнив детство. – Приятель мой из Бийского уезда, Прошка Егоров, подписал контракт и где-то уже там, возле моря. Эх и нам бы! – тряхнул головой. – На волю!

Они взглянули друг на друга и заказали шипевшему целовальнику еще по чарке. Но тот налил по половине. Васька вынул из-за пазухи ладанку с сухой змеиной головой. Дружки выпили, захохотали и вышли на крыльцо.

На праздники Господь добр, многое прощает, но и нечисть не дремлет. Василий запряг в сани жеребца и помчались они по тракту к городу. Поскрипывал снег под полозьями, радостно всхрапывая, летел застоявшийся конь, от ветра слезы наворачивались на глазах, а Васька крутил кнут над головой:

– Э-гей! Гони!

Будто из-под земли, на тракт выскочил пьяный татарин в малахое, повис на оглоблях, остановил храпевшего жеребца.

– А ну, вылезай! – закуражился, похлопывая рукавицей по сабле.

– Я те вылезу! – Сысой нашарил под соломой цепь, клацнула она, присвистнула в студенном воздухе и опустилась на бритую голову, сбив с нее бараний малахай. У озорника подкосились ноги, он осел на четвереньки и ткнулся лицом в сугроб.

Васька развернул коня, стегнул, и понеслись сани в обратную сторону. Отгуляли дружки.

– Не убил ли? – опасливо оглянулся.

– Не должен! Вполсилы бил. – Сысой тоже оглянулся. – Вроде шевелится.

Вернулся он домой уже не пьян, только с запахом зелья. По лицам родни понял – костерят, что, как парень, шлялся по гостям один. Отец и дядя были в замешательстве: то ли драть, то ли делать вид, что не чувят водочного духа. Фекла до ночи воротила нос, потом подобрела и завела нудный разговор, где все сводилось к одному: жить-то надо!

– Хорошо надо жить! – с вызовом усмехнулся Сысой. – Не так, как мы.

Зевая до слез, Фекла возражала: живем в достатке, семья дружная, что еще надо?

– Воли надо! – отрезал Сысой. – Поедем зверя бить за море?! Не захочешь – в солдаты уйду, будет тебе воля двадцать пять лет по двору носиться, кур шупать.

Но Фекла уже не слышала его, спала.

Сначала прошел слух – на тракте убили служилого. Потом приехал городской чиновник, допытывался свидетелей и послухов. Сысой не верил, что так просто убил человека, на исповеди рассказал попу, как было. Родня забеспокоилась: кто знает, вдруг побитый отлежался, убит другой – мало ли гулящих да беглых на тракте? Все помалкивали. Сысой хоть и вырос ровень с отцом, ума-то еще не нажил. А власть правду искать не станет, отпишется, что нашла виновного, и дело с плеч.

Сысой, по наказу Андроника, постился, молился, зевая: не было на душе никакого знака о преступлении. И когда отец завел разговор о том, как жить дальше, не отделить ли молодых, Сысой, стрельнув на него глазами, набрал в грудь воздуха и выпалил:

– Прости, батя, за правду, но мне такая жизнь поперек горла. Уж лучше рекрутом в тобольские роты. Слышал я, в городе шелиховский приказчик ищет доброхотов промышлять за морем. Отпусти с ним! Век за тебя Бога молить буду. И дому – облегчение от подушного налога, и мне – полное содержание. Узнавал уже, компанейский обоз идет на Иркутск.

Отец опустил голову. Мать, как всегда, завсхлипывала, заголосила:

– От молодой жены, от крова родительского... Похорони нас сперва...

Теперь Сысой завздыхал, ерзая и почесываясь.

– Вы, даст Бог, еще лет двадцать проживете, а то и больше. Куда же я потом годеен буду?

Мать обиделась, поджала губы, с раздражением окликнула сноху:

– При живом муже вдовой остаться хочешь?

Фекла послушно попыталась выдать слезу – не получилось. С чувством исполненного долга вздохнула и поправила платок.

– Против судьбы не попрешь! – тяжело вздохнул отец, поднял голову с глазами в красных прожилках, а в них – смирение. – Как жена скажет, так и будет, – положил на стол тяжелую жилистую руку.

«Ее-то я уломаю!» – повеселел Сысой.

При оттепелях уже попахивало весной. Зимник еще держал, а прежних морозов не было. В городе шумно гуляли поверстанные в Северо-восточную Иркутскую соединенную Американскую компанию купцов Шелихова и Голикова. Сысой и Васька Васильев, прельстившиеся заморскими промыслами, держались особняком: Сысой едва не скакал козлом и не блял от счастья, Васька подсчитывал, сколько заработает на промыслах, подумывал о будущем доме,

который поставит среди лучших пашенных семей. Днями дружки готовили обоз, вечерами ходили к родственникам и друзьям.

– Хоть бы не скалился для приличия, – ворчала родня. – Одному Богу известно, увидимся ли?

На Обретение Сысой терпеливо отстоял службу в церкви, сходил на кладбище, попросился с родными могилами – все, как положено от века. И только когда в губернской управе получил паспорт на семь лет, когда поставил подпись в подорожной бумаге – до конца поверил в новую жизнь: нынче птица гнездо обретает, я – волю!

Компанейский обоз затемно двинулся через ямскую слободу на Обской зимник. По весенним застругам скрипели полозья саней, тренькали бубенцы, пыхали паром конские морды. До восхода было холодно. Васька уже сидел в санях под медвежьей дохой и грел дружку место. В последний раз Сысой расцеловал отца и мать, впервые от всей души – свою невозлюбленную жену. Все пристойно, как принято от века. Сжать бы зубы, потерпеть еще немного, но на востоке заалело и из морозной хмари стало подниматься по-весеннему яркое солнце. Первый луч упал на золоченый крест приходской церкви. Он засиял, засветился, блистая багрянцем.

– Э-э-эх! – Сысой с плясом прошелся по дороге до ждущих саней. – На волю вольную, на землицу обетованную!.. – Вскочил на передок, оттеснив знакомого ямщика, выхватил у него из рукавиц кнут, щелкнул по заледневшему мартовскому снегу.

Сорвались и понеслись испуганные кони. Хохоча, Сысой обернулся. Поддерживая друг друга, стояли мать с отцом, за ними толпился весь дом. На миг кольнула сердце жалость. Жена с растерянным видом шагнула следом за обозом, вытягивая руки, будто только сейчас поняла случившееся. Но всходило солнце. Кнут описал дугу над санями, еще раз врезался в накатанную наледь позади возка, начисто отрезая былую жизнь. Ямщик выругался, забрал его и толкнул непутевого земляка к товарищу.

Судьбой завязанная, небом отпущенная, начиналась жизнь крестьянского сына Сысои Слободчикова по страстному желанию его.

2. Вольный промысел

В своей прежней жизни Прошка Егоров не видел мест угрюмой Чугацкого залива: нависшие над водой черные скалы, мертвецки серые языки льдов торчащих из падей, в шевелящемся тумане горные вершины и без конца морозящий дождь. Не так представлялась ему Аляска, Терентию Лукину – воля, а Ульяне – жизнь при больших деньгах. Константиновская крепость на острове Нучек, куда они попали на компанейские промыслы, была самым отвратным местом в этом туманном заливе: вроде чирья среди болот. Скрывая солнце, здесь по полгода дождало дырявое небо. Временами налетал ветер с севера, разгонял тучи и так сковывал промозглую землю, что ни человек, ни зверь не могли держаться на скользких склонах сопок.

Здесь не было разговоров о воле – иди куда знаешь, держать тебя некому, некому спрашивать паспорт. Только народы вокруг дикие, злые, вороватые, со слабого не то что исподнюю одежду – кожу сдерут для потехи.

Проход стоял в карауле и, чтобы не уснуть, всю ночь бесшумно, крадучись ходил по настилу крепостной стены, осторожно высматривая все, что мог разглядеть. По одну сторону две казармы, аманатская и приказная избы, амбар, склады, теснота корабельная, жизнь осторожная, по другую – ров, палисад, в двадцати шагах от него кладбище: мертвые – и те жались к стенам. В темноте слышно было, как накатывает на берег волна прилива.

Добирался сюда Проход едва ли не целый год, того, что видел и пережил в пути, хватило бы на весь выпуск горной школы, которую он не закончил. На его щеках пучками закурчавилась борода, которую здесь никто не заставлял сбривать, длинные волосы ему мешали, и он их стриг на московский манер в скобку. За год скитаний Проход окреп, вошел в мужскую силу, оставаясь жилистым и поджарым, как дед.

Стоять ему в карауле до самого рассвета. Вот и пялился в сырую темень за стены, разглядывал кресты: среди них лазутчика заметить трудней, чем на ровном месте. Эх! Покурить бы, да боязно: не успеешь раздуть трут, как один из крестов окажется чугачем и пальнет картечью из добротной аглицкой пехотинки. Проход еще раз бросил взгляд на восток без признаков рассвета, подхватил фузею и пошел к южной крепостной стене проведать барнаульского мещанина Ваську Котовщикова. Они прибыли сюда одним обозом и кочем, который здесь называли галиотом. Ближе к караульному подходить не стал, увидел – не спит, живой, приглушенно свистнул. Васька обернулся, махнул рукой.

Не каждую ночь караул так осторожен. Умерла дочь чугацкого тойона, данная промышленным в заложницы. А виной всему два распутных брата, иркутские мещане из коноваловской партии, Васька и Алексашка Ивановы, которые взялись приучать диких к бане: дух, мол, от них тяжелый. Натопили ее среди недели, предложили аманатам-заложникам попариться, пообещав по чарке водки. Бань чугачи не любили, но за выпивку готовы были лезть в огонь: заперлись, пару поддают, вениками хлещут, визжат и крикают, выходят сухие, только покрасневшиеся. «Наливай, косяк!» – требуют, по местному обычаю называя всех русских промышленных казаками. Раздосадованно переглянувшись, братья чертыхнулись, но уговор не нарушили, налили обещанное. Те выпили, предложили за другую чарку попариться еще раз.

От их простодушной хитрости Васька тряхнул флягой с остатками водки, Алексашка со злобным, перекошенным лицом, подмигнул ему и кивнул чугачам: «Заходите, коли такие смелые!» Начали они париться, Ивановы заскочили, сорвав дверь, видят, мужик с девкой сидят на корточках под полком и хлещут вениками по стенам. Увидели, что хитрость раскрыта – бросились вон. Девку промышленные поймали. За руки, за ноги – кинули на полком, хорошо плеснули на каменку и давай хлестать вениками. Сперва она вопила и брыкалась, потом размякла, затихла. Промышленные подумали – поняла удовольствие, перевернули на спину, а у нее черное лицо и пена на губах.

Два дня назад к отцу покойной, ченюкскому тойону Шенуге, отправили почетное посольство с подарками. Его селение промышляло морского бобра для артели. Как теперь все обернется – одному Богу известно. Управляющий Константиновской крепостью Григорий Коновалов сам проверял посты, в караулы ходили все, даже казенный мореход Степан Зайков. Молодая чугачка, завернутая в новое английское одеяло, стыла в сарае среди байдар.

Под утро, на сыром ветру караульных не спасали ни добротная птичья парка урильева пера, ни камлея – кожаный плащ. На Алтае, бывало, зимой в холода так не мерзли, как здесь, среди дождей. Потемнело так, что не стало видно крестов под стеной, Прохор подумал, что скоро рассвет, и обманулся. Просто тучи на какое-то время стали гуще, потом поредели. Стоять еще и стоять наедине с мыслями, не доверяя глазам, прислушиваться!

Ульяна задурила еще в Барнауле. Не успели получить задаток, стала требовать с Прошки ленту и новую рубаху. Правда, среди обозных и расфуфыренных горожанок они выглядели побирушками: он – в драном чекмене с чужого плеча, она – в облезлой душегрее и сером домотканом сарафане из сундуков Анисима. Не спасала и золотая коса, которую Ульяна то и дело перебрасывала с плеча на плечо. От торговых рядов ее не оттащить, глазищи так и зыркали по прилавкам. Это заметил артельный приказчик. Посмеиваясь над Прошкой и раззадоривая Ульяну, приговаривал:

– Промышленные на островах зарабатывают столько, что весь гостиный двор могли бы купить.

Видя, что Прохор не ревнивец, за Ульяной пробовал ухлестнуть Васька Котовщиков и однажды, спозаранку, вернулся в казарму с синяком под глазом. Следом, высоко держа голову с красными пятнами на щеках, вошла Ульяна. Спала она на одних нарах с мужчинами, отгораживаясь занавеской, а то и так, между Прошкой и Терентием. Вставала первой, долго зевала и потягивалась, ожидая, что кто-нибудь затопит печь. Но встав, уже веселей начинала стряпать.

В Иркутске, еще не сошел синяк под глазом Васьки, за столом завели разговор о заводских нравах. Котовщиков возьми и ляпни, косясь на Ульяну:

– У нас что ни девка, то бл... Бергалки рождаются сверленными.

Ульяна вытряхнула со сковороды на стол очередной блин, перехватила ее тряпицей да как звезданет Котовщикова под другой глаз.

Перед Масленой она влетела в казарму, будто сорвалась с медвежьих когтей. Прошку звала названным братцем, Терентия величала по батюшке, ко всем работным обращалась с улыбкой и поклоном. Ездила на рынок, присмотрела в торговых рядах сережки. А приказчик как на грех, оговорился, что к празднику дадут денег.

– Сколько? – спросил Прохор, прощаясь с надеждой рассчитаться за новые ичиги.

Вместо ответа Ульяна и вовсе засияла:

– В церкви у приставихи видела, ну такие...

«Хоть бы целковый на праздник остался», – чертыхнулся Прохор и с обидой вспомнил деда, присоветовавшего взять девку: весь год припоминала она ему обещанные сережки.

– Семнадцать ассигнациями! – И, видя, как полезли под шапку брови у брата названного, пожала плечами. – Займи у Терентия, зачем ему деньги?

После обедни в казарме накрыли столы. Промышленные и работные, чистые телом, облегченные духом после исповеди, приодетые и чинные, степенно помолвившись, расселись по лавкам: тобольские по одну сторону, иркутские – по другую, барнаульские – особо. Приказчик привез бочонок пива – дар от хозяина артели, и собирался уже сказать приветное слово, сообщить о снаряженном обозе, скором отъезде на Лену. Тут уточкой вплыла в казарму Ульяна в новом сарафане и козловых сапожках, голова алой лентой повязана, в ушах сережки, будто звезды, щеки нарумянены, брови и зубы чернены по моде дворянских бабушек, нынешних купчих и мещанок. Даже старый приказчик ахнул:

– Где поймали такую царевну?

Ульяна, виляя задом, прошла мимо него, села рядом с Прохором, оттопырив мизинчик, подняла чарку с наливкой и с поклоном сказала:

– С праздником, православные!

Прохор выпил первую, хмыкнул в нос и, подвинувшись к Терентию, тихонько спросил:

– В Беловодском царстве деньги есть?

Обмакнутый в сметану блин на миг застрял в бороде тайного беспоповца и единоверца по паспорту, глаза удивленно уставились на молодого попутчика. Но блин проскочил, скрывшись за шевелящимися усами, глаза просветлели:

– Нету!

– Это хорошо! – ухмыльнулся Прошка и со смешливой хитринкой посмотрел на Ульяну.

И потом все застолье плавала в нем непутевая озорная мысль, как соринка в чарке, даже когда блевал пивом и водкой, все чему-то посмеивался. В полночь, чуть живого, Ульяна уложила его на нары, погладила по голове. Прохор икнул и тихо заржал:

– Денег-то в Америке нет!

Ульяна, смеясь, запустила пальцы ему в волосы, ласково потрепала и прошептала:

– Там золото на земле валяется!

Прохор опять заржал, борясь с икотой, хотел сказать, что в артели и торга нет, один запасной мангазей: что дадут, тому будь рад. Но нары качнулись, закружились, и он затих...

Рассветало, в темени четче обозначились кресты. Когда завиднеется скала на берегу – можно требовать смену. Прохор огляделся по сторонам, набил трубку виргинским табаком, высек искру, раздул трут. Победными флагами над крепостью поднялись дымки. Вскоре, шевеля бородой и дожевывая, из казармы вышел иркутский мещанин стрелок Галактионов: тощий, низкорослый, крикливый. На плече – фузея, за кушаком топор.

Прохор ввалился в казарму, на ходу сбрасывая сырую одежду, прижался к теплой печи. В дальнем углу стонали больные цингой и чирьями. Тетка Пелагея в черном платке с трубкой во впалых губах поставила на стол котел с разогретой китовиной, подцепила кусок фунта на два, положила на деревянное блюдо.

– Мартын ночью помер! – прошамкала беззубым ртом, не вынимая трубки. – Другие на поправку пошли, а ему Бог не дал... Со «Святого Павла». Одиннадцатый годок на островах.

Прохор сел на китовый позвонок, обернулся, увидел на нарах отдельно от других больных тело, укрытое с головой, перекрестился не вставая и подвинул к себе блюдо. Еще неделю назад в крепости сквернились ракушками и морской травой, каждый день ходили промышлять зверя и рыбу – все попусту. Семеро слегли, остальные плевались кровью. Но не оставил Бог: передовщик Петька Коломин из камчатских мещан увидел касатку под скалой, уметил высушенную голову и всадил пулю прямо в дыхательную дыру. На другой день касатку прибило к берегу. Артель запировала. Терентий Лукин долго принюхивался к еде – мясо похоже на скотское и дышит касатка, как корова, но из моря добыта, ног нет, значит – рыба. Посомневавшись, и он стал отъедаться по нужде в пост. А муки оставалось – только на Пасху пирогов испечь.

Прохор вынул нож из-за голяшки, порезал мясо ломтями, намазал китовым жиром и стал неторопливо жевать, глядя в стену, старался представить, что ест хлеб. Запив китовину отваром из трав, он совсем ослаб, подумал тупо: закурить или другим разом? Протер концом кушака фузею, подсыпал порошу на полку, пощупал пальцем кремень и поплелся в свой угол. Ульяна сидела на нарах, куталась в меховое одеяло и чесала волосы. Прохор положил ружье под бок, бросил нож, лег рядом с ней и молча потянул на себя одеяло.

– Как отстоял? – равнодушно спросила она.

– Ничего, – ответил он, зевая: – А Мартын ночью помер... Прими, Господи!

К полудню его разбудил Василий Третьяков, коренастый крепыш средних лет, с блестящей лысиной в полголовы. В руках – тобольская винтовая фузея, за кушаком пистолет и тесак. Прошка помотал головой, приходя в себя.

– Едут? – спросил сонно и стал собираться.

По небу волоклись тяжелые, свинцовые тучи, дул порывистый северный ветер с запахом снега. На промышленных отрывисто покрикивал управляющий крепостью и всей артелью Григорий Коновалов. Из-за его кушака так же торчали рукояти двух пистолетов, на боку висела сабля.

– Федька, Васька – на стену, к воротам! Возьмите фальконет, и чтобы фитиль не гас... Если дам дулет – ворота быстро закрыть... С дикими разговариваю только я... Прощка! Крест снимите – выпрашивать будут, а то и украдут.

– Теперь уж точно все наши харчи сожрут, – проворчал Третьяков, растирая ладонью обнаженную лысину.

– Взашей их, – ругался кто-то в толпе промышленных, – самим жрать нечего.

– Все, братушки, кончили с республикой! – властно крикнул Коновалов, расчесывая гребнем густую бороду, обернулся к передовщику Коломину, бросил презрительно и зло: – Хоть на время уйми своих варнаков. Начнется резня – не будут спрашивать, твоей или моей партии.

Петр Коломин, опустив дерзкие глаза, погонял желваки по скулам, под редкой бородой, мотнул головой с заолодевшими глазами, хрипло скомандовал своим промышленным:

– Делайте, что велит управляющий!

– Говорю и решаю только я! – громче крикнул Коновалов. – Один за всех! – И ворчливо, со злостью добавил: – Коли хотите быть живы.

Три десятка байдар Ченюкского и Чикешского селений подходили к берегу острова. Чугачи сидели в лодках на особый манер, подложив под себя воинские доспехи. Некоторые уже вытаскивали лодки на сушу, облачались в деревянные латы и шлемы. Затем, сбившись в толпу и задрав головы к тому месту, где за низкими облаками должно быть солнце, завыли. Поплясав в честь прибытия, вооруженные ружьями и копьями гости стали приближаться к стенам крепости.

Вот они переступили невидимую черту выстрела. Каждый промышленный взял на прицел одного. Выбрал цель и Прохор. Но нет! Шагнув раз-другой, чугачи остановились. Тойон, с одеялом, повязанным поверх парки, положил ружье у ног, за ним сложили оружие другие. Коновалов с толмачом вышли на стену, забалаболили по-чугацки. Управляющий обернулся, махнул рукой, подзывая к себе Прохора:

– Договорились! Выдают пятерых аманат. Обыщи, проводи в аманатскую избу, пусть Улька их накормит. Сам улыбайся пошире, будь ласков, но глаз не спускай. Чуть что – кончай на месте. Грех беру на себя!

Прохор отдал ружье, взял кремневый пистоль, закинул за спину дедов мушкетон и спустился к воротам. Они приоткрылись, впусив пятерых почетных заложников с подрезанными до бровей челками, с волосами, посыпанными орлиным пухом. Черные глаза с раскосинкой плутовато зыркали по сторонам. Из их проколотых ноздрей торчали точеные моржовые кости, у иных в прорезь на нижней губе вставлены кости и тонкие, как червяки, длинные раковины – цукли. Размалеванные красками лица блестели, как медные котлы. Некоторые из заложников были одеты в птичьи парки, другие в оленье, ноги у всех босы.

Прохор задрал парку аманата, под ней не было другой одежды. Он увидел, что это девка, смутился: черт их разберет, где мужик, где баба. Стал ощупывать поверх одежды.

– Кто так обыскивает? – закричал со стены Галактионов. Спрыгнул вниз, подбежал, запустил аманату руку в пах. – Вон-на! – вытащил стальной бостонский нож. – Чего робеешь, как нецелованный? У них все одно совести нет.

Пожилой чугач, у которого вытащили нож, насмешливо водил лукавыми глазами, будто впервые видел поблескивавший клинок.

– Вспрет тебе брюхо – не перекрестится! – проворчал старовояжный стрелок. – А эта вроде баба, за пазухой меж титек щупай...

Обыск нисколько не смутил туземцев. С выпиравшими челюстями от заложенных за губу костяшек они посматривали вокруг надменно и горделиво. Прохор сунул нож за голяшку и, улыбаясь, как велели, повел заложников в аманацкую, где, сверкая золотой косой, Ульяна разливала чай по китайским чашкам.

Коновалов договорился впустить в крепость пятнадцать человек – родственников покойной. Первыми вошли тойон с редкими седыми волосками на подбородке и шаман с провалившимся носом. В его разрезанной нижней губе висели два острых камня, отчего зубы и нижняя десна были обнажены, по подбородку текла слюна. Котовщиков проводил их в пакгауз, где положили покойных в стороне от пустых бочек, байдар и весел. Подходить к ним промышленный не стал, из-за распахнутых дверей поглядывал, как родственники обступили тело девки с черным лицом, без слез и рыданий стали осматривать шею и грудь. Чугачка лежала по-христиански, на спине. В стороне, напоказ, остывал еще не отпетый Мартын, лицо его было светлым – едва успев почтить, он уже помогал своим.

Вид мертвого русича рядом с чугачкой подействовал на диких лучше подарков. Не найдя следов насилия, они деловито залопотали, под руководством шамана подрезали сухожилия тела, стали сгибать его улиткой. Их посыльный забрался на стену, что-то сказал ждущим на берегу. Те, одобрительно зашумев, сложили оружие и направились в распадок к ближайшему лесному колку. На западной стороне в версте от крепости набросали кучу хвороста, бересты и смолья, положили на нее покойную чугачку и раздули огонь. Вскоре смрадно запахло паленым человеческим мясом.

Коновалов послал за стены два бочонка китового жира, в крепости готовился пир, хотя не предан был земле свой стрелок. Его обмыли, переодели в смертное иркутский купец Иван Большаков и Терентий Лукин. Они уже зажигали свечи, чтобы отпеть покойного, когда в пакгауз вошли управляющий артелью Григорий Коновалов с двумя пистолями за кушаком и его недруг, передовщик промысловой партии Петька Коломин: Мартын был его стрелком. Передовщик и управляющий сняли шапки, покрестились, кланяясь:

– Прости, брат! – смахнул слезу Коломин. – И после смерти русскому человеку честь в последнюю очередь, а как помощи просить, так у первого. – Поцеловал остывшего стрелка в лоб.

За ним Коновалов, придерживая рукой пышную, длинную бороду, приложился к остывшему лбу, ни словом, ни взглядом не выдавая неприязни к стоявшему рядом сопернику.

В это время Прохор сдал заложников иркутянину Галактионову и ушел в караул на стену, Ульяна вертелась среди гостей, потряхивая косой, поблескивая сережками, подкладывала китовину на плоски и чуть было не выволокла из поварни медный котел. На нее вовремя шикнули – чугачи непременно стали бы выпрашивать его, и она разливала чай из чугунного. К тому, что гости сидят и лежат в чем мать родила, а иные лишь с лоскутом на срамном месте, Ульяна привыкла. Они же поглядывали на нее с любопытством.

Шаман водил-водил провалившимся носом и передал толмачу, что желает спать с этой девкой. Тот на все застолье так и сказал по-русски. По замершим лицам косяков шаман понял, что допустил какую-то оплошность. Ульяна, с красными и белыми пятнами на лице, метала глазами молнии. С обычной для чугач самоуверенностью шаман повторил, что спать с ним – большая честь: потом можно участвовать в мужских сходах.

После мгновенного замешательства первым пришел в себя Григорий Коновалов. Он расправил по груди пышную русую бороду, поднялся с чаркой в руке, обратился к гостю:

– Спать с Ульяной нельзя, у нее болезнь пострашней той, что обычна среди островных народов. При ее болезни у мужчины сперва отваливается уд, только потом нос, потому Ульяну никто в жены не берет, хоть девка видная!

И дальше, ухмыляясь уголками глаз и похваляясь находчивостью, управляющий стал сыпать бисер красноречия: я, дескать, не враг гостю, должен сообщить...

Шаман пошевелил резаной губой, почесал проколотые щеки и, нетерпеливо прервав его, согласился, что с такой девкой спать нельзя. Разговор пошел о предстоящем промысле. Чугачей корили за прошлый сезон: кормили всю зиму, давали задаток, а они переметнулись к Баранову в Шелиховскую артель. Об этом в Константиновской много толковали, единодушно понося Павловскую крепость и ее управляющего. Кенайская губа – залив к западу от Чугацкого, считалась искони Лебедевским: Шелихов еще только обустроивался на Кадьяке, а лебедевские промышленные были там.

– В Чугацкой мы первыми крепость поставили, – возмущались старые стрелки. – Попускали хитрому каргопольскому купчине и допускались: нынче его артель строит крепость в Кенайской губе, а в Чугацкой – срубила избу-одиночку и переманила наших работных чугач... Иные из лебедевских промышленных ругали своих передовщиков: нам бы такого управляющего, как Алексашка Баранов. У него порядок и хлеб, говорят, до Святой Пасхи.

Пока в Константиновской крепости и за ее стенами пировали, караулы стояли удвоенными. На пару с Прохором на стену вышел казенный мореход Степан Зайков, сорокалетний молодежавый с виду мещанин, бывший в чести у обеих враждующих партий. Под его началом на пакетботе «Святой Иоанн Богослов» прибыли из Охотска Прохор с Ульяной, Терентий и Василий Котовщиков. Десять лет назад с этого же судна партия Петра Коломина высадилась в Кенайской губе. Нынешний управляющий артелью Григорий Коновалов тоже прибыл с Зайковым на пакетботе «Святой Георгий», только семью годами позже. Волей пайщиков и компаньонов две партии были объединены, но согласия между ними не было. Прохор и прибывшие с ним люди стояли особняком в этой распре, а Степан Зайков – выше склок. Он был дерзок и заносчив, но, выпив, становился добрейшим человеком. Уже по его походке, когда поднимался на мостки, Прохор понял, что мореход перед караулом принял добрую чарку. Степан приставил к острогу фузею, со вздохами осмотрелся, заметив у Прохора под паркой дедов крест, добродушно посмеялся:

– Не украли, пока обыскивал?! Меняются чугачи, не те уже.

– Что ж я, совсем дурак? – слегка обиделся Прохор. – Как можно с шеи крест украсть? Степан, снисходительно улыбаясь, вынул из кармана трубку и кисет.

– А ты бывшего боцмана Дурыгина спроси, как из-под него кафтан сперли. – Зайков постучал кремешком по стволу фузеи, раздул трут и раскурил трубку, выпустив из коротко стриженной бороды густые клубы дыма. У него было желание поговорить, а Прохор не прочь послушать о былом.

– Ни на островах, ни на матером берегу нет народа вороватей чугачей. – Шепеляво прорчал мореход, сжимая зубами трубку. – Это сейчас они уже не те. А когда сюда прибыл мой брат Потап, люди диву давались: то, что, поев с твоего стола, посуду прихватят – обычное дело, а то ведь подойдет, хватить шапку с головы – и бежать. На минуту пристанут к борту судна на своих лодках, глядишь, затычки со шпигатов срезали, все гвозди повыдергивали...

У Дурыгина кафтан был новый. Боцман сильно боялся, что украдут, ночами им не укрывался, под себя стелил. Как-то уснул под байдарой, а удалой чугач не поленился, подкрался, привязал палку к дереву и дергал за бечеву, пока Дурыгин не проснулся. Боцман взвел курок фузеи, на миг только высунулся из-под байдары, чтобы оглядеться, хватить – нет кафтана. Утром пошел жаловаться тойону. Тот вора нашел, прислал к нему. Он кафтан вернул, но при этом сильно похвалялся, каков он удалец, и советовал другой раз лучше смотреть за своими вещами.

Мореход выколотил трубку, сунул за голяшку, взял в руки фузею. Ветер с севера усиливался, туман редел, холодало, но в воздухе все еще висела сырая взвесь.

– Смотри-ка. – Степан кивнул на берег, где возле костров сидели чугачи. – Сейчас девки плясать будут!

– Почем знаешь, что девки? У них все безбородые. Я пока обыскивал, только и различал, что на ощупь.

Степан тихо рассмеялся:

– Научишься! Девки до обеда пляшут, мужики после. У девок лица татуировкой обезображены, у мужиков – краской. – Зайков помолчал, глядя на пляски, вздохнул: – Нет, не те уже, пообвыкли, обрусели, наши порядки стали перенимать. Еще два года назад, когда строили крепость, этот же тойон Шенуга Ченюкского жила приходил к нам с родней. Мы наварили гречневой каши, намастили ее китовым жиром, дали гостям ложки. Один набрал каши в рот, повалил языком и плюнул обратно в котел. Наши давай его бить, гости понять не могут за что, орут: «улу-улу», – показывают пальцем на язык. Привели толмача, чугач через него с обидой передал, что у него рот не поганный, все сородичи едят жеванное им. Сейчас-то – смех, а тогда какво было?!

Привалившись к стене, мореход глядел на пляски, хмыкнул и поскоблил скулу:

– Ишь, шалавы, как срамотой вертят, будто их на кол сажают! – сказал насмешливо и умолк. Судя по его лицу, хмель стал проходить, переходя в сонливость. Прохор, попыхивая трубкой, стал думать, как разговорить старовояжного.

– Коли лебедевские сюда первыми пришли, что спорят, чьи промыслы в губе? – спросил баском.

– Слушай болтунов, – неохотно проворчал Зайков. – За год до шелиховского поселения на Кадьяке мой брат Потап на «Святом Александре Невском» объединился с шелиховским пайщиком Деларовым, который ходил на «Святом Алексее» тотемских купцов Пановых, и с мореходом Мухоплевым на «Святом Михаиле», который в тот год принадлежал тотемскому купцу Холодилову, но компания Шелихова – Голикова имела в нем паи. Объединившись, три галиота пришли сюда искать новых угодий. Чугачи в то время воевали со всеми народами, жившими вокруг них, и всех держали в страхе. Алеуты и сейчас называют их неустрашимыми касатками. наших здесь первый раз так побили, что пришлось уйти ни с чем. Мухоплев на «Михаиле» чудом вернулся в Охотск, потеряв половину экипажа. Идти к Кадьяку с Шелиховым он отказался и божился дальше Уналашки к востоку не ходить. Деларов встретил Шелихова на Уналашке, умолял остаться на зимовку, пугал, что к востоку народы лютые, ни торговать, ни промышлять не дадут... Но вскоре шелиховские мореходы Измайлов с Бочаровым описали Чугацкую губу. Потом Гришка Коновалов на месте нынешней крепости поставил избу-одиночку. Через год здесь промышляла артель иркутского купца Киселева. Вот и разбери, чья губа и кто первый! – Зайков плюнул за стену и тихо выругался. – Это промышленные драное одеяло поделить не могут, а главные пайщики заодно. Хоть бы и наши промыслы! Тридцать семь паев в деле принадлежат Лебедеву-Ласточкину, один – богоугодный, один – на охотскую школу, три – Гришки Коновалова, три – мои, тринадцать – курского купца Шелихова. Вы его артель ругаете, а он ваш пайщик... Понял? – Зайков снисходительно похлопал по плечу молодого промышленного и снова стал набивать трубку. – Гляди-ка, сейчас плясать перестанут, повернутся лицом к костру и завоюют.

Так и случилось.

После Святой Пасхи стихли ветра, иногда сквозь низкие облака стало тускло проглядывать солнце. Промышленные смазали байдары жиром, целыми днями болтались на волнах прилива, рыбачили. Из-за постоянной сырости сушили рыбу в сараях, развешивая на шестах над дымом тлеющего огня. Все равно юкола долго не хранилась, быстро плесневела. Стрелки по двое-трое ходили в глубь острова за зверем и птицей, в хорошие дни добывали мяса помногу, но сохранить его было трудно.

И все-таки на Егория-голодного, в конце апреля, артели удалось собрать припас к промыслам. Партии стали расходиться по кормовым местам. Егоров с Котовщиковым попали в

партию Петра Коломина, отправляющуюся в Кенайскую губу, где у артели было укрепленное зимовье на реке Касиловке.

Полсотни русских стрелков на больших кадьякских байдарках пошли из залива на запад. За ними двинулись чугачи в кожаных и долбленых лодках. Попутно они промышляли морского бобра и зверя на встречных островах. Вскоре к ним присоединились полтора десятка алеутов на быстрых и узких однолючных байдарках. У большинства русских промышленных, кроме стрелкового оружия были пистолеты, у иных – сабли, у всех топоры. Прохор Егоров кроме компанейских фузеи и топора держал при себе дедов мушкетон. Передовщик Коломин перед походом посмеялся:

– На кой он тебе, колесцовый еще? Возьми в долг пистоль! – Но, натолкнувшись на упрямство молодого стрелка, плюнул и смирился. Так Прохор Егоров вышел на свой первый промысел с преогромным дедовским крестом на животе и со старинным мушкетонном.

В Кенайской губе партия разделилась на две чуницы. Одна, под началом иркутянина Василия Иванова, пошла на север, к Касиловке, другая собиралась идти к Черно-Бурому острову с дымящей горой, но сородичи передали чугачам, а те передовщику, что в губу вошло много байдар под прикрытием пакетбота. По их описанию это была шелиховская артель.

Петька Коломин срамословил и скрипел зубами от наглости кадьякских соседушек, грозил перестрелять русских артельщиков, а нанятых ими туземцев заставить промышлять на себя. Но время было горячим, упускать его никто не желал. Тогда передовщик уговорил морехода Зайкова, известного всем партиям и артелям, плыть на двулучке со старовояжным стрелком Галактионовым в Павловскую бухту, чтобы растолковать непонятливым соседям, у кого больше прав на Кенайский залив. Сам же распределил чугачей по группам во главе с русскими промышленными и отправил на промыслы. Егорова, Храмова, Котовщикова, Баклушина, Третьякова и несколько инородцев оставил при себе и стал ждать посыльных на острове близ мыса Святой Елисаветы.

Зайков и Галактионов на пути к Кадьяку встретили шелиховскую партию, плывшую в Чугацкий залив: эта наглость была откровенней их промыслов на Касиловке. Новопостроенную Павловскую крепость лебедевские посыльные увидели издалека. Острог был поставлен в удобном месте, на бугре, недалеко от берега бухты, с трех сторон укрытой от ветров. Гостей заметили на входе в нее. Навстречу им вышел сам шелиховский управляющий в окружении дружков. В кафтане нараспашку, в бобровой шапке. Засуетились его дружки, с почтением, на руках вынесли на сушу лодку вместе с послами.

– Дорогим соседушкам хлеб да соль, лучшие пожелания в промысле, – приветливо улыбаясь, раскланялся Баранов.

Зайков удивленно уставился на его усы. Как купец и статский без чина носить их управляющий не имел права. Здесь не Московия и не Сибирь, но усов не носили даже солдатские и дворянские дети: ходили в бородах, стригли их или брили наголо. В барановских усах Зайкову почудился намек на какое-то превосходство во власти перед другими приказчиками, передовщиками и мореходами.

Хотя Коломин приказывал Галактионову молчать, а разговор вести Зайкову, горячий на слово иркутянин не выдержал затянувшейся паузы и разорался, почесывая затекший от долгого сидения зад.

– Супостаты! Все кормовые места заняли. Конец приходит терпению нашему, перебьем на лайдах, как котов...

Васька Медведников, дюжий барановский мужик из крестьян, нагло ухмыльнулся за спиной управляющего:

– Андреич, не заткнуть ли этого хорька?

– Погодите, детушки! – поморщился Баранов. – Давайте поговорим. От ругани нет прока. Нам ли, православным, ссориться из-за пустяков? Сперва баньку дорогим гостям, стол, потом разговоры... Или мы так одичали, что не почитаем русских обычаев?

Упоминание о застолье задобрило Галактионова. Он почесал нос, поскоблил затекший зад и умолк. Но заносчивый Зайков, оправившись от удивления, сказал строго:

– Не до гостеваний, промышлять надо, а поговорить стоит, для того и прибыли... Кто у тебя в Кенайскую губу послан?

– Малахов!

– Знакомы! Ловко прошлый год переманил наших людей. Но теперь научены: или отзывают партию, или через неделю там будут наши пакетботы.

– Постой, Степан Кузьмич! Серьезный разговор так не ведется. – Баранов сдвинул шапку на затылок, смахнул рукавом пот со лба. Ласковая улыбка под пышными драгунскими усами на миг покривилась, но тут же опять растеклась по лицу. – Не хотите своей волей – силой за стол усадим. Не обижай старика. Я ведь вот этими руками на Уналашке брата твоего в могилу опустил. Великий был мореход, царствие небесное!

Упоминание о брате смутило Зайкова. Лишь на миг он растерянно опустил глаза. Дружки Баранова со смехом подхватили послов на руки, потащили в крепость. Стрелок Галактионов огрызнулся и выкрикивал:

– Мы люди вольные, но и у нас порядок должен быть... Русский человек без совести – не русский! – Но сам уже не вырывался.

Уплыли константиновцы поутру, опохмелившись и закусив. Зайков озадаченно чесал грудь: хитрый лис Баранов наговорил с три короба, да все слова ласковые, приветные, про брата много рассказывал, но обещания отозвать Малахова не дал. Галактионов с утра хватил лишнего, греб с натугой, задыхался. Он поменял в шелиховской крепости плохонькую шкуру на фунт виргинского табаку с полуштофом и был тем очень доволен.

Со своими партовщиками послы встретились в назначенном месте, на камнях близ мыса. Зайков, разминая возле костра затекшие ноги, с виду непривычно покладистый и усталый, говорил, что вел себя как наказано, слово в слово передал разговор с Барановым, только о выпитом умолчал. Галактионов без обычного азарта поддакивал связчику.

Коломин внимательно выслушал их, не взорвался, не выругался даже: только побагровел старый рубец на его щеке. Он выколотил трубку о камень, с горечью рассмеялся.

– Ну и жук, однако, купчина каргопольский! Нам бы такого вместо Гришки.

– Это уж так! – Галактионов ковырнул в носу, поскреб пятерней тощий зад.

– Ну, да ладно! – усмехнулся передовщик. – Вчера Гришка Коновалов прошел в залив на пакетботе. Ты, Степан, на «Иоанне» прикроешь наших в Камышакской бухте. Как Малахов там появится – турнешь. А Гришка его на нас погонит, так мы с ним договорились. Не сегодня – завтра малаховская партия будет здесь, вот и посчитаемся за прошлый год.

Ждать пришлось еще два дня. Стояли у камней, алеуты добывали бобров и нерп, стрелки рыбачили недалеко от берега.

– Проха, – подзуживали от скуки, – на кого молодуху оставил? Гришка ее огуляет, уж мы-то знаем этого жеребца.

– Давно уж огулял, теперь на «Георгии» Малахова гоняет. Нынче, в крепости Терентий, друг твой. Известное дело – старый конь борозды не портит.

– Не-е, раскольничку никак нельзя... Он скорей оскопится, чем осквернится бабой.

– Не жалко! – огрызнулся Прохор. – Моя кобыла умеет постоять за себя.

– Все правильно говорит Прошка, – скоморошничал Васька Котовщиков. – Если хотите знать, он герой, потому что спит рядом с этой стервой. Когда уходит в караул – меня лихоманка бьет: не приведи бог, что не так скажу – убьет. Я в Иркутском на Маслену подхожу к ней,

говорю, позвольте пригласить сплясать, а она как звезданет горячей сковородой... Да больно так!

– Ты тyani, клюет... Вот так! Говори, а рот не разевай.

Васька бросил в байдару круглого, как сковорода, палтуса, снова закинул удочку:

– Да после того тащи она меня силком в свой угол за белую ковригу в полпуда – ни за что!

Рыбачившие на миг смолкли. Котовщиков нарушил негласный уговор – заговорил о хлебе.

Утром на горизонте показалось несколько точек. Пакетбота не было видно.

– Наши? Или малаховские? – всматривались вдаль промышленные.

– Проверим! – Коломин вытащил подзорную трубу: – Они! Ну-ка, братцы, осмотри оружие. Все байдары на воду. Васька, Ванька – гребите к кекуру, чугач с собой возьмите. Пугнете их там, они к нам в руки и придут. Прошка, Васька... Ты, Кот. Со мной. Как подойдут, прыгай в воду, хватай байдары, тyani к берегу, потом оружие отбери и вяжи.

Третьяков с помощниками дали залп из-за скалы, торчавшей над водой. Лодки Малахова повернули на отмель. Два десятка проворных малаховских алеутов развернули узкие байдарки и стали грести в море – этих на воде не догнать. Прошка с Васькой прыгнули в воду с большой байдары Коломина. Какой-то русский стрелок в двулужке пытался огреть Прошку веслом по голове. Он увернулся и опрокинул лодку.

– Хватай дикого! – кричал Коломин. – Вяжи!

Профор схватил туземца за пучок волос, приставил к горлу нож. Тот равнодушно поплелся к берегу.

Успели взять только пятерых, остальные увернулись вместе с передовщиком, выхватили ружья, но сами оказались под прицелом стволов, торчащих из-за камней. Ничем не прикрытые, они без стрельбы ушли в море следом за алеутами.

Коломин ругался, что упустили передовщика, пару раз пнул плененного Лариона Котельникова:

– Прошлый год смеялся надо мной, окунь тухлый! – И к чугачу, захваченному Профором: – Мы же тебя всю зиму кормили, задаток давали! – безнадежно махнул рукой. – Кому говорю, будто у них есть совесть... На поводке отработаешь долг! А за тобой, – повернулся к Лариону, – Баранов сам пожалуется. Вот и поговорим!.. Оружие отберите, байдары на берег.

В Константиновской крепости несли караул полтора десятка больных и немощных. Пакетбот «Святой Георгий» вернулся на Нучек днем раньше, чем туда пришли две большие байдары с барановскими промышленными. Григорий Коновалов выставил на стены всех, даже Ульяну накрыл шапкой и посадил возле фальконета. Два десятка головорезов, прибывших с Кадьяка, могли легко разнести обезлюдевшую крепость, но Коновалов наверняка знал, что Баранов на это не пойдет. А вот дружков его мог бес попутать затеять резню помимо воли управляющего.

Павловцы неспешно вышли на берег, вытащили байдары на сушу, с оружием подошли прямо к запертым воротам. Впереди Баранов: сам по себе широкоплечий, из-за кольчуги под кафтаном и вовсе выглядевший квадратным. На его ногах высокие сапоги, за поясом пистоль. За ним – ближайшие дружки: высокий и дородный Медведников, дюжий, сутуловатый Кабанов, креол Чеченев, рыжебородый Баламутов, Васька Труднов с красной полнокровной рожей и другие, кто в кафтане, кто в парке, кто в зипуне. Все хорошо вооружены. В байдаре – двухфунтовая пушка.

– Что же ты, Гришенька, не встречаешь дорогих гостей? – задрал голову, крикнул из-под стены Баранов.

Коновалов встал в полный рост и ответил, размахивая тлеющим фитилем:

– Так ведь гости незваные-нежданные, приготовиться к встрече не успели!

– Из-за чего распря, детушки? С чего обида? Или мы не православные, чтобы мирно все решить? Ты же умный, Гришенька, давай поговорим?!

Сильней задул ветер, низко над землей понеслись тучи, скрывая и открывая солнце. Баранов прижал рукой шапку к голове, чтобы не сдуло.

– В прошлом году ты уже поговорил с нашими каюрами, выкупленными из рабства у чугачей, они к тебе сбежали! – вразной закричали со стены.

– Я ли в том виноват? – в усмешке дрогнули усы Баранова. – От хорошего хозяина чадушки не бегают.

Коновалов позеленел от обиды, выругался в полный голос, схватил ружье, наставил ствол на управляющего с Кадьяка. Дружки Баранова снизу взяли на прицел его и всех засевших у бойниц.

– Ну, не дурак ли ты, Гришенька? – не мигая, смотрел на Григория гость. – Не в меня – в себя целишь. Узнают дикие, что мы с тобой в ссоре, – всем будет плохо, но я с киселевскими стрелками на Кадьяке, может быть, и отобьюсь, а вас в Чугачах и Кенаях точно перережут.

Дрогнул ствол на стене, поднялся выше.

– Зачем нам ссориться? – продолжал Баранов. – Вы – артели Лебедева-Ласточкина, мы – Шелиховские. Они ведь друзья, компаньоны и пайщики. Между ними раздора нет, что же нам делить?

– Ну и балаболка! – расплевался Алексашка Иванов, вернувшийся на Нучек вместе с Коноваловым, и крикнул вниз, высунув голову из-за острожин: – Ты скажи, сколько шкур на пай взяли твои промышленные в прошлом году, потом наше, добытое, посчитай! Ни Лебедев, ни Шелихов мне убытки не заплатят... – И к управляющему: – Гришка, гони их, пока я этому хрену ус не отстрелил! – закричал, сатанея.

Баранов солидно поправил пышные усы, не положенные ему, купцу, по регламенту, усмехнулся с вызовом в глазах, сказал жестче:

– Пожалее, ребятушки, да поздно будет!

– Убери партию из Кенайской губы с наших промыслов, потом говорить будем!

– На Касиловке мое зимовье было срублено раньше вашего редута, – глазом не повел на кричавшего Баранов, – а я вас не гоню – вместе промышлять предлагаю.

– Шелиховский каюр под кустом кучу навалит, и на десять верст не подойди – их земля! – поперечно крикнул Иванов.

– С тобой промышлять? – искренне удивился Коновалов. – Ты черта обманешь... Думаешь, кругом одни дураки? Слышали про хитроумного, который дружкам морды выбрил, сажей вымазал, шведский корвет спалил и на диких все спер...

На стене дружно захохотали. Усы Баранова оцетинились, задравшись концами вверх, но улыбка не сошла с лица.

– А вот об этом, Гришенька, по контракту ты обязан не мне, а Охотскому коменданту докладывать! Значит, не договорились? – жестко усмехнулся. – А жаль! – И добавил с угрозой в голосе: – Ладно, отпусти Котельникова, и мы уйдем, не возьмем греха на душу.

– Накось выкуси! – сложил дулю Алексашка Иванов. – Сначала убытки оплаты за прошлый год.

Улыбка начисто сошла с лица Баранова, в глазах попыхивали недобрые искры:

– День был вчера солнечный. – Он обернулся к морю и кивнул на вытянутый на берег пакетбот. – «Георгий» хорошо просох! А что, Гришенька, если я его подпалю на прощание?

Угрюмый Кабанов приложил ружье к плечу, прищурился, повел стволом по стене и выстрелил по высунувшемуся из бойницы рыльцу фальконета. Запела отрикошетившая пуля. Ульяна с визгом подскочила на мостках, показав золотистую косу. Теперь захохотали внизу.

– Выдай! – нехотя кивнул Алексашке сникший Коновалов.

Тот, матерясь, закинул на плечо фузею, спустился вниз. Ворота чуть приоткрылись, из проема выскочил Ларион Котельников, спроваженный пинком в зад, виновато улыбнулся своим.

– Я ухажу, ребяташки, – сняв шапку, раскланялся Баранов. Издали глубокие залысины на белобрый голове сливались в солидную плешь. – Коли жизнь заставит – приходите. Я вам помогу, встречу по-христиански, и сегодняшней день не припомню. Я ведь не такое говно, как ты, Гришка!

Шелиховские артельщики гурьбой двинулись к берегу. Баранов что-то говорил на ходу и размахивал бобровой шапкой. Коновалов несколько раз брал ее на прицел. Подстрекал нечистый попортить для куража, но Григорий не выстрелил, устоял перед искушением. Вроде бы и ветер стал стихать.

– Гришка-то струсил, – хохотал рыжебородый и конопатый Баламутов, усаживаясь в лодку. – Пугнули мы его изрядно. Так ведь?

– Нет, не так! – спокойно возразил Баранов. – Просто Гришка не такой дурак, как некоторые из наших.

– Струсил, – не унимался Баламутов. – У него в крепости два десятка калек. Мы бы их в полчаса связали... Даже девку к фальконету посадил.

– А они бы потом вернулись с промыслов, собрали человек двести против нас и разнесли бы Кадьяк, – спокойно сказал Баранов и добавил с печалью: – Мне бы таких удалцов, да я бы всю Америку под государеву руку подвел!

– Откуда лебедевские знают про «Меркурий»? – хмуро спросил Кабанов. В лодке настоженно примолкли. Василий Медведников пророкотал прокуренным басом:

– Не загремим ли кандалами, Андреич?

– Детушки, – с усталой печалью в голосе вздохнул Баранов. – Я ли не читал вам тайное послание Охотского коменданта за его собственноручной подписью? Из Петербурга донесли иркутскому губернатору, что для грабежей наших колоний снаряжен корвет «Меркурий» под началом англичанина Кокса и что появиться он должен под враждебным шведским флагом... Наш камчатский покровитель, коллежский асессор Иван Кох, дал мне инструкцию – в случае нападения врага победить его многоумством и природной нашей храбростью, каковой другие народы лишены... Так и сказано. Его послание всегда при мне! – Баранов похлопал себя по груди, под кафтаном клацнула броня. – А пока оно здесь – бояться нам нечего.

– Не носил бы ты кольчуги, а то потонешь вместе с письмом, – с опаской в голосе укорил Кабанов.

– Охотней спасать будете! – насмешливо подергивая усами, ответил управляющий. Он не договаривал, что с последним транспортом получил известие: война со шведами закончилась еще три года назад, по слухам, капитан Кокс умер в Кантоне от лихорадки. И теперь он, Александр Баранов, втайне от друзей ломал голову, какой корвет крейсировал возле Кадьяка под шведским флагом?

Горели костры. После удачного промысла на камнях рядами лежали туши бобров. По локоть в крови, промышленные снимали шкуры, мездрили, срезали жир с мяса. Едва не задев людей крыльями, над лагерем носились чайки, дрались из-за лучших кусков. Жирное воронье лениво ворошило брошенные внутренности. Чугачи и алеуты порознь разбили два стана, поставив на бок байдары вместо балаганов. Все варили для себя мясо бобров, предпочитая его другой пище. Чугачи и алеуты пекли сивучьи ласты, топили жир. Запах печеного мяса уносило по заливу.

– Смотри-ка! – Васька Котовщиков указал в море окровавленным ножом. Прохор вытер лоб о предплечье, оглянулся: огромный баклан заглотив такой кусок, что добрая половина свисала из клюва. Птица била крыльями по воде и не могла взлететь. Алеуты стали кидать в нее камни. Баклан яростней заработал крыльями и лапами, но кусок не отгрынул.

Вечерело. Промышленные собрались у костров, пили чай, вокруг лагеря стояли русские секреты: мир с кенайцами был непрочен, да и шелиховские артельщики могли напасть, мстя за недавние обиды. Переваливаясь с боку на бок, в лагерь приплелся отъевшийся после зимовки работный алеут: босой и простоволосый, в перовой парке до пят, он присел на корточки рядом с передовщиком, помолчал столько, что Коломин понял – пришел не спроста, но с вестью, затем равнодушно пробормотал:

– Косяк зарубленный там! – махнул рукой в сторону.

Рубец на щеке передовщика побелел. Коломин насторожился, зыркнул по сторонам, приказал Храмову и Баклушину, чтобы алеута поили чаем и от своего костра не отпускали, затем окликнул Прохора. Егоров подхватил фузею. Вдвоем они прошли на другую сторону острова, покрытого хвойными деревьями. Здесь на берег была вытащена шелиховская байдара, караульные склонились над стонущим в ней человеком. Галактионов стрекотал, как сорока, бегал от ручья к раненому и шапкой носил воду.

– Давно приметил – что-то к берегу несет! То ли дохлого кита, то ли байдару. А тут вона что...

– Кто таков? – спросил Коломин, взглянул на раненого, узнал шелиховского старовояжного стрелка. Его парка была в крови, фланелевая рубаха присохла к телу. Третьяков мочил ее и осторожно отдирает от раны. Она была глубокой и гнойной: плечо перерублено вместе с ключицей.

– Кто тебя? – опустил на колено передовщик.

– Кенайцы! – прохрипел раненый, облизнув губы. – Наши каюры, у кенайцев купленные, напали... Меха мы везли от Малахова... Дмитриева сразу, потом Еремина. – Раненый перевел дух. – Я, слава богу, среди своих.

– Довоевались! – простонал Коломин, сжимая лицо ладонями, сгоняя со щек прилившую кровь. Помолчал, мотая чубатой головой. Обернулся к Третьякову с красными воспаленными глазами: – Прошка с Котом вместо вас заступят в караул. Ты с Галактионовым положите раненого в лодку и во всю мочь плывите на Кадьяк. Мы при кострах дошкурим зверя и пойдем в Кочемакскую бухту к Зайкову под пушки «Иоанна», оттуда всей партией – в Никольский редут. За три дня чугачи нас, может быть, не предадут, а после будем биться, пока вы не приведете помощь.

– На поклон к шелиховским? – неуверенно застрекотал было Галактионов. – Да Малахов меня на кол посадит после того, что было!

Третьяков, поскоблив пятерней лысину, с досадой поморщился:

– Может, раненого сдать да к Гришке?...

– Васенька, ты чего? – едко щурясь, спросил передовщик, растирая отметину на щеке. – Хочешь, чтобы с тебя, как с бобра, шкуру сняли? Да пока Гришка партию соберет, пока его найдете, тут все против нас объединятся. После с барановскими и киселевскими не отобьемся.

Залитую кровью байдару подсушили, промазали жиром, настелили веток на дно и осторожно уложили раненого. Он то впадал в забытие, бормотал несуразное, то стонал. Из-за гор на матером берегу выползла луна. Вскоре на трехлючке приплыли алеут, принесший в лагерь весть, и Васька Котовщиков, посланный на смену караула. Галактионов, Третьяков и прибывший алеут пересели в байдару с раненым, привязали к корме пустую трехлючку и растворились во тьме. Некоторое время еще слышался плеск весел, потом все стихло. Коломин перебрел на восток, где поднималась печальная луна – половинчатый месяц.

– Грехи наши! – ворчали у костра промышленные. – Второе лето что-нибудь да случается.

– Братья Котельниковы наплюют мне в глаз, – стонал Храмов, хватаясь за голову.

– Хватит душу травить! – прикрикнул на них Коломин. – Когда своих убивают – не до старых обид. Нас кончат, на том не останутся, пока не перережут всех до самой Камчатки. – Он сплюнул в сердцах и тихо добавил: – Алексашка Баранов не дурак, поймет!

До Павловской бухты Третьякову с Галактионовым плыть не пришлось. Возле Бесплодных островов они встретили две большие байдары под началом самого Баранова. Ларион Котельников, как на грех, оказался при управляющем, кинулся с кулаками на Третьякова, но Баранов его удержал.

Раненый был еще жив. По просветленному лицу текли благостные слезы: дал Бог отойти среди своих, не всякому промышленному такая честь. Третьяков, опустив круглую лысую голову, без шапки, ждал новых унижений, но Баранов быстро утихомирил озлобившихся спутников:

– Не время спорить, детушки. Сегодня искру не зальем, завтра большой пожар тушить придется! – И к Третьякову: – Ваших возле Никольского редута и по всей губе должно быть до полусотни, да мы, да на алеутов, с оглядкой, можно положиться – они нынче озлоблены против кенайцев и чугачей: можно собрать больше сотни стволов.

Барановские байдары повернули на север, догнали партию Коломина и объединились с ней.

Был ясный солнечный полдень, а над кенайским селением висели дымы, что не вязалось ни с обычаями здешнего народа, ни с погодой, ни со временем суток. Сводный отряд высадился на берег. Баранов в кольчуге и шлеме, с двумя пистолями за кушаком, потоптался на месте, ожидая посыльных или хотя бы пущенной кем-нибудь стрелы. Не заметить прибывших в селении не могли, но никто не вышел, не было никаких признаков готовящегося нападения. Управляющий резко махнул рукой, чтобы из байдары вынесли пушку. Промышленные молча окружили его, выстроились квадратом, ощетинились штыками, как дикобраз иглами. Баранов размашисто перекрестил грудь, снова повелительно махнул рукой, подавая знак, и отряд двинулся к селению.

Чугачи, народ эскимосских племен Собаки, по крови, языку, одежде и обычаям были родственниками кадьякам и алеутам, но жили в окружении индейских племен Ворона и постоянно воевали с ними. Кенайцы, напротив, были родней материковых индейцев, но жили особняком от них, среди эскимосов, и считались надежными союзниками русских промышленных партий. Выкупленные у них рабы могли вернуться только к ним, и промышленные гадали, почему селение испугалось русского отряда из-за беглых каюров. С тлеющим фитилем в руке Баранов внимательно поглядывал вокруг, стараясь понять, было ли убийство его промышленных случайным или союзники прервали мирный договор. Летники пустовали. Кенайцы не спрятали даже деревянного идола, которого не показывали иноверцам. За селением на столбах висели семь ящиков с мертвецами. «Уж не поветрие ли у них?» – забеспокоился управляющий шелиховской артелью.

Из леса крадучись вышли два старика, покрытых накидками из кож. Баранов приказал толмачу:

– Скажи, что купленные у них каюры зарубили трех промышленных на устье Илямны.

Толмач перевел, старики оживились, залопотали, что их люди прячутся в лесу, и вызвались пригласить тойона. Вскоре с важным видом, из-за деревьев вышел вождь с бостонским мушкетом в руках. Его плечи были покрыты одеялом, голова, по обычаю индейских племен, украшена пухом и горностаевыми шкурками. На вопрос, отчего в селении так много мертвых, вождь уклончиво ответил: жили-жили и умерли, наверное, пора пришла.

Баранов под прикрытием своих людей вышел к нему и, скрежеща кольчугой, присел возле костра, к которому его пригласил кенайский тойон. При этом управляющий хмурился и вздыхал, показывая, что огорчен вынужденным немирным появлением. Кенаец стал расспрашивать о причинах визита и с легкостью согласился, что русские промышленные не могут оставить без наказания четырех убийц. Чтобы начать переговоры и сыск, Баранов с вождем стали торговаться о заложниках. Тойон, нажимая на то, что время бить оленей, всучил ему двух дочерей

и двух сыновей именитых соплеменников. Сговорились, что на время встречи промышленные тоже дадут почетных заложников.

Поиск каюров занял немного времени. Вскоре кенайцы привели к тойону и Баранову четырех мужчин. Один, краснорожий и коренастый, с выпиравшей на лбу жилой, смотрел дерзко, другие, по обычаю здешних народов, выглядели равнодушными к происходящему.

– Хорошо жили у тебя рабы, тойон, если к тебе же и бежали, – оглядывая их, покачал головой Баранов. – Жаль таких удалыцов наказывать и без наказания оставить нельзя. Я думаю, того, кто пытался защитить нашего стрелка, ты накажешь сам, мягче других: почему бежал и не помог раненому? Что делать с убийцами – пусть решат ваши старейшины.

Краснорожий плюнул под ноги, показывая презрение к косякам.

– Всю зиму жили возле нашей крепости, – начал разглагольствовать Баранов. – Мы с вами делили последний припас. Никто из вас не скажет, что «Бырыма» кормил своих людей лучше, чем каюров. А вы в благодарность зарубили моих стрелков, которые верили вам, как братьям. – Баранов распаялся, укоряя и кенайцев в том, что они своей волей пошли под руку русского царя, когда их вырезали чугачи и даже получили от него медный герб – российского двуглавого орла.

Тойон винился, хмуря брови: маленько забыли про Русского царя. Старый тойон умер, герб продали аглегмятам... Он говорил долго и красноречиво, при этом бросал на Баранова быстрые, резкие, испытующие взгляды. Осторожно намекнул, что знает, как хорошо служил России прежний вождь.

Старейшины посоветовались между собой и приговорили убийц к смерти. Баранов выдержал задумчивую паузу, сделал вид, что переговорил с друзьями, сказал:

– Смерть – слишком суровое наказание. Мы думаем, если каждый кенаец ударит виновного шомполом один раз – этого будет достаточно.

Тойон опустил голову, одна бровь поднялась выше другой, стал думать. В отличие от воинственных и дерзких чугачей, кенайцы, как алеуты, не выносили оскорблений побоями, предпочитая смерть. «Хитер!» – восхищались Барановым лебедевские промышленные. «Вроде и мы ни при чем, и другим наука».

Подумав, тойон согласился, что придуманное косяками наказание справедливо. Приговоренных заперли в балагане, до полуночи их сторожил Прохор Егоров, слышал возбужденное лопотание. Когда его сменили, он вошел в кажим – приказную индейскую избу из жердей, где расположились на ночлег промышленные и кадьяки с алеутами. Откинул полог, за которым устроился шелиховский управляющий, чтобы доложить о караульной смене. При свете жировика увидел, как дочь тойона нырнула под одеяло, а Баранов, сидя, с кряхтением, сдирает с плеч броню. Встретившись взглядом с черными насмешливыми глазами девки, натянувшей меховое одеяло до самого носа, Прохор усмехнулся, сказал управляющему, что арестованные ведут себя беспокойно. Тот выслушал, кивнул, вздохнул, смущенно бормоча:

– Погрешаю вот, по нашей мужской слабости. Сама пришла, – кивнул на девку. – Наверное, тойон подучил.

Посреди жупана – главной комнаты в кажиме – вокруг тлевшего очага спали промышленные. Одеяло Петра Коломина ходило ходуном, он тоже погрешал. Прохор наспех перекрестился, лег и натянул шапку на уши: хоть и пережил зиму в артели, все еще удивлялся, что у старовояжных промышленных нет ни стыда, ни брезгливости.

Утром, после ритуальных плясок, кенайцы открыли охраняемый балаган, где ночевали приговоренные к наказанию. Краснорожий лежал, уткнувшись носом в лужу крови: ночью он откопал раковину и вспорол себе горло. Другой каюр, удивив сородичей, старавшихся даже собственную казнь превратить в геройство, растолкал охранников и побежал к морю. Берег в том месте был скалист и крут, но низок. Вода ушла с отливом, обнажив каменистое дно. Кенаец бросился вниз головой, но не убил. Превозмогая боль, он подполз к луже, сунул в нее

голову и утопился, нахлебавшись воды. Его сородичи расценили такой способ самоубийства непостыдным. Двух других пороли по приговору. Один из них умер к вечеру. На другое утро кенайцы подняли на столбы еще три ящика со скорченными, приготовленными для нового рождения телами.

Заложницы, обольстив «косяцких тойонов», ходили по селению, задрав проколотые носы, шныряли мимо часовых в кажим. Кенайцы стали смелей и развязней, выходили из леса с оружием, и вскоре в селении собралось до полутора сотен мужчин. После пира и плясок Баранов забрал своих промышленных, данных селению в аманаты: Чеченева, Куликалова, Ахмылина.

– С тебя, батька, по чарке, – ворчали они. – По совести, так и по второй бы налил: мы взаперти чуть с тоски не померли.

Надо было плыть, аманатить другие селения, но Коломин и Зайков взмолились: скоро месяц, как начались промыслы, а у них ничего не добыто.

– Наказали преступников, нагнали страху, и ладно... Понадобится помощь – придем. А вам в помощь дадим своих молодых стрелков: Егорова и Котовщикова.

На том договорились. Отряд в кенайском селении поредел, тойон уже поглядывал на русских стрелков неприязненно, предложил Кабанову полмешка бисера за пушку, обиженный отказом, стал жаловаться «Бырыме-тойону».

– Ты богатый колош, – похвалил бисер Баранов. – Но оружием только бостонцы и англичане торгуют, нам Бог и царь не велят!

Тойон ухмыльнулся и сказал, будто слышал от родственников, что Бог и царь не сердились, когда косяки, нарядившись кадьяками, захватили сильный корабль, а он, тойон, знает, где стоит богатый и слабый корабль.

Баранов хмуро помолчал, оглядываясь на караульных, и неохотно ответил, что прежний тойон говорил о давнем, когда корабль чужих белых людей угрожал царю. Затем спросил, откуда в жиле так много бисера. Тойон, поведив носом с торчащими из него костяшками, невнятно ответил: плавают тут всякие суда, дарят и меняют!

Снова Прохор стоял в карауле, теперь уже в чужой партии. Раздался условный свист, он ответил. Зевая, из кажима вышел Васька Котовщиков с охотской самокованной фузеей на плече. Посмеиваясь, зашептал:

– Я у Петьки девку отбил. Она под моим одеялом. Иди, вдруг не поймет, что другой. А поймет – что с того? – приглушенно рассмеялся.

– Страшная ведь?! – проскулил Прохор, понимая, что устоять перед соблазном не сможет.

– В темноте не видать! – сонно хохотнул Васька. – Рыбиной пахнет. В бане бы помыться – и ничо, не хуже твоей рыжей бесовки.

Утром русичи, алеуты и кадьяки покинули кенайское селение, сели в лодки и двинулись к северу залива. К вечеру при хорошей погоде они высадились на небольшом острове, заросшем лесом. Место для лагеря выбирали в сумерках: поставили палатки, напекли мяса и рыбы. По жребью первым в караул пошел Котовщиков. Ему повезло: он мог спать с полуночи до утра. Прохору же выпадала самая трудная смена, разрывающая ночь надвое. Перед отбоем Баранов, клацая кольчужкой, обошел палатки.

– Почему без чарки ложимся? – ворчали его дружки.

– Легкий был день, – отвечал управляющий. – Нечего добро переводить попусту.

– Что с того, что легкий, – не то в шутку, не то всерьез возмущались старовояжные. –

Мучились, сивучину водой запивая: ее туда, она обратно... С чаркой легче.

Прохор задремал, вспоминая прошлую ночь с кенайкой. Она не отличила его от Васьки или делала вид, что не поняла подмены. Утром Прошка брезгливо отмывался морской и пресной водой, мысленно зарекался впредь сторониться греха, но к вечеру стали донимать навяз-

чивые воспоминания прошлой ночи. Бывшая аманатка увязалась за Васькой и теперь, должно быть, легла под байдарой, чтобы пробраться к нему среди ночи. Если старовояжные узнают, что Кот стоял на часах с девкой – побьют, хоть и безлюдье на острове.

Проход уже засыпал в палатке среди храпевших товарищей и вдруг вскинул голову с гулко бьющейся в висках кровью: почудился или приснился Васькин крик. Он настороженно прислушался, перекрестился, снова завернулся в одеяло. Сквозь дыры в парусине тьму прошивали иглы лунного света. Рядом беззаботно спали старовояжные стрелки Ворошилов, Острогин, Труднов. Проход опять закрыл глаза, но палатка дернулась, будто кто запнулся о полог, а в следующий миг он с удивлением уставился на древко копья с костяным наконечником, ткнувшееся рядом с его лицом. «Не снится ли?» – подумал, но выхватил из-под головы ворошиловский пистоль и выстрелил по направлению копья.

Василий Труднов, храпевший у края, будто ждал сигнала – тут же выкатился под полог, выстрелил, засрамословил, словно наступил на змею. Палатка упала. Проход выполз из-под парусины, по нему скользом прошелся сапог из сивучьих горл. Он сам кого-то пнул, выволок фузею с мушкетом и подсумок с патронами. Федька Острогин, тощий и длинный, как змей, в одних суконных штанах вертелся чертом, размахивая саблей, визжал и матерился. Возле тлеющего костра управляющий Баранов в белой голландской рубахе выкатывал пушку и кричал зычным голосом:

– Ко мне, ребятушки, в кучу!

Прохода едва не сбили с ног бегущие артельные алеуты и работные кадьки. Из кустов раздался нестройный залп. Толпа бегущих рассыпалась. Баранов, расталкивая их пинками, наконец-то запалил фитиль, пушка ахнула. Где-то рядом завопили раненые, запела отрикошетившая картечь. Из темноты с мушкетом наперевес выскочило чудище с оскаленной пастью, обвешанное деревянными латами, на голове бочонком торчал долбленный чурбан шлема. Прошка от страха подпрыгнул, ткнул ему стволом в глаз. Чудище споткнулось, личина слетела, открыв индейское лицо с приплюснутым носом. Следом за личиной с плеч упала голова, разевающая кровавый рот. Из-за рухнувшего тела выскочил Федька Острогин с саблей.

– Пугают малолеток по ночам! – крикнул весело и зло.

– Ребятюшки! – горланил Баранов, торопливо заряжая пушку. Проход подскочил к нему, бросив волочившуюся сумку и мушкетон. Поднял фузею, хотел выстрелить на вспышку.

– Фитиль запали! – крикнул Баранов, указывая под ноги. – Затоптали!

Проход бросил ружье, подхватил уголек из костра, раздул.

– Пали! – крикнул управляющий.

Двухфунтовая пушка грохнула и отскочила в сторону. Расталкивая все еще мечущихся алеутов, к ней пробился Труднов, за ним другие промышленные. Кто забивал пулю в ствол, кто натягивал бродни. На берегу, у байдар, часто стреляли. Баранов под деревом как-то странно дергался, размахивая руками. Наконец изловчился, рванул, затрещала боярская рубаха, пригвожденная копьем к стволу.

Перезарядив ружья, промышленные выстроились. Отбиваясь прикладом, из кустов с ревом выскочил босой и полуголый Василий Медведников.

– Кто это? – крикнул басом, прочесывая сонные глаза.

– Хрен их разберет! – просипел Баранов, срывая с мускулистой груди остатки голландской рубахи. – Все здесь?

– Баламута нет!

– Здесь я!

– Коломинские юнцы где?

– Я здесь! – откликнулся Проход. – Кот в карауле.

– Ко-от! Беги сюда! – во всю глотку прокричал Медведников.

Котовщиков не отозвался.

Прострелив старый заряд, Прохор насыпал в мушкетон горсть пороха, зарядил картечью. Из кустов с воплями выскочил отряд латников.

– Первая шеренга – пли!

– Язвы их в душу... Заговоренные, что ли? Пуля не берет!

– Расступись! – скомандовал Баранов и сунул фитиль в запал пушки.

На берегу стрельба стихла. Толпа латников в жутких масках с воем бросилась на выстроившийся отряд и с воплями же откатилась назад. Но они быстро оправились и, не дав промышленным перезарядить ружья, вновь бросились на них.

– Детушки! Отступать некуда, в одиночку никто не спасется... Выровнялись... Васька, курвин сын, назад! – Баранов осадил вырвавшегося из строя Медведникова. – В штыхы, дружененько. Р-р-аз! Молодцы-удальцы! Расступись!

Ахнула пушка.

– Сомкни ряд!

Прохор отбил стволом пику, при мутном свете луны увидел блестящие глаза, ткнул в них стволом, ударил прикладом вправо и с удивлением услышал за спиной:

– Егоров! Назад!.. – Это кричал Баранов. – Подравнялись, детушки... Убитые есть?

– Кто такие? – снова пробормотал удивленный голос.

– Вроде якутаты! Откуда они здесь?

– Егоров, Пospelов, ко мне! – обнаженный до пояса, Баранов махнул рукой во тьму. – Бегите к моей палатке, в кожаных сумках порох и картечь. Доставьте, мигом!

Прохор схватил заряженный мушкетон, Пospelов, немолодой уже томский мещанин, – охотскую самоковку, пригибаясь, побежали к темневшей палатке. Сзади стреляли свои, не давая латникам поднять голов. Одна пуля шлепнулась у Прошкиных ног, другая шмелем пропела над головой. Словно из-под земли, в десяти шагах появились латники. Пospelов щелкнул курком – осечка, еще раз – осечка. Прохор прижал локтем приклад мушкетона, спустил колесцо, брызнул сноп искр, вспыхнул порох на полке, рванулось пламя из короткого ствола, приклад так ткнул в живот, что молодой промышленный сложился вдвое. «Много пороха насыпал», – подумал. В ушах звенело. Пospelов упал на колено, выстрелил из пистолета, разинув рот, прочистил ухо пальцем, удивленно выругался:

– Ничо себе! Как из пушки!

Прохор бросил под ноги мушкетон, кинулся в палатку. Пискнула девка, которую впотьмах схватил за ногу. Наконец, нащупал два мешка, выволок наружу. Пospelов наконец справился со своей самоковкой, выстрелил с колена, они вдвоем побежали назад.

Что-то происходило за их спинами: кричали промышленные возле пушки, затем прогрохотал залп, ударив в лицо горячей, тухлой волной вонючей серы. Из строя выскочили трое и пронеслись мимо Прохора. Наконец, задыхаясь от бега на полусогнутых ногах, он бросил мешки возле пушки и упал. Следом под руки приволокли Пospelова.

Еще три раза латники пытались атаковать, но уже неуверенно, без криков, с опаской и оглядкой. Чаще постреливали из-за деревьев, стреляли в темноте плохо. Промышленные же приноровились к их латам, били пулями, стараясь не тратить заряды напрасно.

Прохор думал, что прошел час, но вдруг отчетливей стали видны стволы деревьев, кустарник и камни. Рассветало. Пользуясь затишьем, Баранов решил сменить позицию. Промышленные схватили пушку, раненого Пospelова, взбежали на высотку. Розовел восток, расправляла крылья птица зоревая, рассветная, пускала по небу золотые стрелы, с боем пробивала во тьме путь солнцу. Навстречу ему уходили большие индейские лодки, и вместо десятка гребцов в них было по пять-шесть.

Оставив пушку под охраной стрелков, промышленные спустились к лагерю, он был усеян телами латников и компанейских алеутов. К берегу тянулась широкая кровавая тропа, остав-

ленная уползавшими ранеными. У воды лежали три наспех вспоротые байдары и убитые алеуты шелиховской артели, пытавшиеся ночью выйти в море.

– Андреич! – сипло дыша, позвал Баранова Медведников. – Живого якутата нашли. Толмача надо.

Баранов склонился над тяжело раненым индейцем с размалеванным краской лицом, с проседью в длинных волосах, заплетенных в две косы.

– Зачем напали? – спросил. – У нас был мир. Мы с вами хорошо жили.

– Думали, чугачи, – ответил якутатский индеец, зажимая рукой рану в животе. – Хотели мстить за прошлые обиды.

– Нас с чугачами никак нельзя спутать, – недоверчиво мотнул головой Баранов. – У нас палатки!

Раненый ослабился, претерпевая предсмертную боль:

– Подкрались, видим – косяки. Косяки – богатые. Как не пограбить? Не удержались!

Федька Острогин, все еще полуголый, но усталый и сникший в сумерках рассвета, с кровоточившими ранами на груди и спине, сидя, раскачивался и баюкал вспоротую руку.

– Не мучай ты его! – сочувственно попросил Баранова и здоровой рукой протянул индейцу пистолет. Тот взглянул на него с благодарностью в черных коровьих глазах, скрипнул пружиной курка и выстрелил себе под ухо.

Проخور, успокаиваясь после боя, выкурил трубку, пошел искать дружка Котовщикова. Василий лежал на том месте, где его поставили в караул и тускнеющими глазами смотрел в небо. Ниже его подбородка, чуть не до самого позвонка было перерезано горло, на чекмене вместо пуговицы эдак жалко подвязана обструганная палочка. А на востоке, как ни в чем не бывало, всходило солнце. Проخور, по праву связчика, закрыл глаза невинно убиенному дружку и пошел искать место для могилы.

Вокруг лагеря и на берегу промышленные насчитали двенадцать якутатских тел, семнадцать алеутских. Пропали без вести кенайские мужики, подрядившиеся промышленлять на партию вместо наказанных каюров, их женки были невредимы и охотно оставались среди промышленных.

Погибших латников по общему решению оставили на местах гибели – родственники отыщут тела и приберут по своему обряду. Алеуты посадили покойников в их сломанные байдарки, закидали хворостом и устроили ритуальные пляски. Тело Василия Котовщикова завернули в старые лавтаки и положили в долбленную индейскую лодку с прорубленным днищем. Проخور хотел завернуть его в одеяло, под которым недавно баловал с аманаткой, но старо-воляжные предостерегли: одеяла среди туземцев ценились высоко, ради него могли откопать покойника.

Похоронили Котовщикова на высоком месте, чтобы крест был виден с моря. Баранов почитал над убиенным молитву. Русские промышленные, сняв шапки, постояли возле холмика, помянули молодого стрелка водкой, закусили юколой и разошлись по делам. Поспелов с пулей в животе бредил, удивляя живучестью. За то время, что был у Баранова, Проخور с ним едва ли словом перекинулся, а вот ведь, свела судьба в недобрый час. Про томича говорили, будто бежал за море с каторги, но от судьбы не укрылся.

Почтив мертвых и позаботившись о раненых, промышленные стали латать байдары. На другое утро после боя партия оставила остров и взяла курс на следующее кенайское селение. Оно оказалось пустым. Зола в кострах остыла, среди балаганов бегали собаки. Партия разделилась на чуницы, они пошли вдоль морского берега, обшаривая острова и заливы. В большой байдаре Баранова все никак не мог отойти Поспелов.

Выдался теплый день. Управляющий парился в броне, а рыжебородый Баламутов, скинув чекмень, налегал на весло и чертыхался:

– Замечаю верную приметку: как Андреич кольчужку сбросит, так война! Как напаялит – так мир! Ты бы ее на ночь надевал, тогда бы мы и караулы не ставили!

Семен Чеченев, без шапки с распоротой щекой, перевязанной куском кожи, из-под которой косо торчал клочок черной бороды, ухмыльнулся, переводя взгляды с рыжего шутника на управляющего:

– Какая же дура полезет к нему под одеяло, коли будет в броне?

Баранов хмурился, шевелил усами, думая, как ответить друзьям, не роняя достоинства. Медведников, задрав весло, обернулся:

– У меня сон чуткий, – пророкотал. – Не усну, если Андреич будет всю ночь латами скрежетать, что ржавая петля на воротах...

Опять застонал Пospelов. Промышленные умолкли.

Вечером у костров старовояжные рассказывали о былом, не таком уж и давнем, молодые слушали, затаив дыхание, а Прохор презрительно кривил губы: таких же смутных рассказов он наслушался, блуждая по староверческим скитам. Все они кончались спором: отчего так скрытны русские селения, издавна живущие на Аляске? Почему из партий то и дело бесследно исчезают люди? В этом году, в марте, возле Кадьяка пропали восемь русских партовщиков. Лебедевский стрелок Васька Иванов в прошлом году взял аманат у аглегмятов и ходил на двести верст к северу от Кенайской губы, теперь явно что-то скрывает.

– Вышел на Беловодье, там выпороли за грехи и отправили обратно! – не удержавшись, съязвил Прохор, недобро вспомнив старовояжных братьев-иркутян, до смерти запаривших чугачку. – То я Ваську с Алексашкой не знаю!

Говорить об этом с ним, молодым новиком-казаром, старые стрелки не желали и долго шептались под лодками: царство ли Беловодское рядом или беглые из России прижились и умножились?

После суровой зимовки на Нучеке здесь, в Кенаях, Прохор отмяк душой. Не вся Аляска была такой, как Чугацкий залив. Здесь воздух свеж, как в России, много солнца, туманы и дожди недолги. Западный берег горист, вдали чадил вулкан, сверкали белые вершины, блестел лед на склонах, а в низовьях зеленел лес. На восточном берегу поднялась высокая трава, мирно зеленели луга, берег был изрезан причудливыми бухтами и заливами.

Шелиховские старовояжные стрелки хоть и не снисходили до споров с молодым и чужим партовщиком, но Прошкины насмешки помнили. Байдары проходили мимо небольшого острова, покрытого мхом и кустарником. Краснорожий Василий Труднов, верный товарищ Баранова, вместе с ним прибывший на Кадьяк, насмешливо взглянул на Прохора и указал на островок двухлопастным алеутским веслом.

– Два года назад здесь пропал промышленный: чего-то искал по падым. Мы высадились на ночлег вон на том мысу. Он ушел вечером – и с концом. Весь остров обшарили – не нашли.

Прохор смущенно передернул плечами, отмолчался, а Труднов, снисходительно посмеиваясь, добавил:

– Хотя кто его знает: мог провалиться в какую-нибудь пещеру и сломать шею. Здесь много ям под кустарником и мхом.

Егоров и Труднов двигались в паре на двухлючной байдарке, то отдаляясь от большой и главной, на которой сидел управляющий, то приближаясь к ней. За островом был узкий пролив и высокий скалистый берег. Кенайцев там не могло быть, но Труднов, смешливо поглядывая на молодого стрелка, направил байдарку туда. Они пошли проливом и, зайдя за остров, закрутились на месте, сигналив остальным партовщикам. Там, в заливе, куда не втиснуться и двум малым судам, стоял фрегат со спущенными парусами.

– Сдурела команда или что там? – удивленно выругался Труднов, разглядывая корабль из-под ладони у лба: – Если дунет – размолотит в щепки.

Один якорь фрегата был заведен к безымянному острову, другой – на отмель в заливе. Промышленные увидели заваленный фок, сломанный бушприт. К двухлючке Труднова подходили другие лодки партии. Баранов на большой байдаре встал в рост, приложился к подзорной трубе, прочитал название, писанное латинскими литерами:

– «Финикс», – сказал Медведникову. – Без флага. Не на этот ли слабый корабль намекал кенайский тойон?

На фрегате забежали, засуетились, готовя пушки к бою, подняли звездный флаг Соединенных Штатов. Баранов снял шапку и велел Медведникову поднять Российский флаг.

Байдары партии остановились на расстоянии пушечного выстрела от корабля и рассыпались вокруг острова. Алеуты и кадьяки тут же забросили удочки. Гребцы в большой кожаной лодке Баранова проверили ружья и пошли к кораблю. Для них с борта был брошен штормтрап. Баранов с Медведниковым поднялись на палубу, были встречены кем-то из команды, прошли на ют. Вскоре Василий показался на шканцах и, подзывая товарищей в лодках, помаhal им рукой. Прохор с Трудновым налегли на весла. С большой байдары на борт фрегата лебедкой подняли раненого Пospelова.

Малочисленная команда встретила русских промышленных со слезами радости. Эти люди уже не чаяли выбраться живыми. На палубе были видны следы недавнего боя. Кабанов ковырнул ножом, вытащил пулю из мачты, повертел перед носом, показал Баранову:

– Не потому ли у кенайцев семеро померли разом?

Фрегат «Финикс» с судовладельцем ирландского происхождения на борту и с грузом оружия торговал с островными индейцами. Капитан по имени Портер встретил знакомого вождя и поставил судно на рейд. К борту подошли лодки, дикие хотели плясать в честь встречи. Но капитан, соблюдая меры предосторожности, принял на борт одного вождя, показал ему товар, подарил стальной нож.

Вождь остался доволен товаром и в свою очередь предложил осмотреть меха в лодках. Капитан наклонился за борт, тойон воткнул ему в горло только что подаренный нож, выхватил из-под плаща два пистолета, уложив на месте боцмана и штурмана. Индейцы кинулись на борт. Команда отстреливалась из трюма. Один из матросов-англичан под огнем развернул пушку, выстрелил картечью по баку, куда влезли полтора десятка туземцев. Заминка позволила дать залп по лодкам и отогнать нападавших. Но половина команды погибла в стычке, двое раненых – при смерти, а судно требует основательного ремонта.

После нападения кое-как удалось связать побитый такелаж. Подняли паруса, вскоре встретили еще несколько лодок с индейцами. Те хотели торговать, но выглядели подозрительно.

Баранов усмехнулся, узнав по описанию напавших на партию якутат. Уж они-то, увидев слабость команды, не упустили бы добычи. По сравнению с ними сухопутные кенайцы – невинные дети.

На фрегате оказался бостонский гражданин польского происхождения, сносно говоривший по-русски.

– Как вы можете жить среди этих разбойников? – перевел вопрос судовладельца Мура, вкладывая в него личное любопытство. Усы Баранова неприязненно дрогнули: он осуждал торговлю оружием, от которой льется не только русская кровь.

– Знать надо нравы и обычаи народа, с которым торгуете. Кенайцы, может быть, и мысли о грабеже не имели, но вы ввели их в искушение, показав весь товар сразу... Кстати, бисер у вас был?

– Мешок бисера, флягу рома, десяток топоров нападавшие стащили, – пожаловался судовладелец.

– Якутатские индейцы, по-нашему колоши, народ мирный, работающий и торговый, – со вздохом вспомнил последнюю стычку Баранов. – А вот ведь, третьего дня тоже пришлось поводить с ними.

Ночью на судне под звездным флагом умер Пospelов. Кто-то снял с себя образок и вложил в его холодеющие руки. К утру скончался английский матрос из команды фрегата. Его зашили в одеяло и бросили на дно залива. Pospelова похоронили на острове и поставили березовый крест. Истово молился на его могиле управляющий артелью, винился, что на Кадьяке до сих пор нет священника, за то и карает Господь.

В полудне пути от острова алеуты нашли лежбище котов, и началась работа. Баранов с близкими друзьями с неделю жил на фрегате, помог команде отремонтировать корабль и вывести его в безопасное место. Вскоре Прохор узнал, что артель договорилась об обмене фрегата на бот с доплатой мехами по ценам европейской торговой колонии в Кантоне, которая находится возле китайского порта Гуанчжоу.

Судовладелец повеселел, попыхивая трубкой, хвалил русских промышленных, избавивших его от многих трудностей. Трех матросов и толмача за ненадобностью он тут же уволил. Их тоже выручил Баранов, предложив контракт до конца промыслов.

Вскоре на корабле подняли паруса. Как рыба у воды, он повел носом, схватил ветер и ожил. Повисшие на реях матросы и промышленные распустили паруса, взяли курс на Кадьяк. Стоя на баке, Баранов улыбался в усы, ветер шевелил мех его бобровой шапки. После не раз битого и латаного галиота «Три Святителя» это было первое надежное судно с хорошей скоростью и большим водоизмещением, с обшитым медью корпусом. И представлялись шелиховскому управляющему купола церковью на островах, мачты кораблей с флагами всего белого света. Крещеные колоши и эскимосы промышленяют на компанию морского зверя, живут в чистоте и достатке, русские люди, заботясь о них, ведут торг. Прикинув в уме разницу между ценами на меха и изделиями из них, представлял себе заводику, производящие одежду. Но, обернувшись, увидел оборванных товарищей. После стычки с якутатами иные из них еще зализывали раны. На шкафуте стоял Прошка Егоров в драной парке. Ветер шевелил отросшие, как у попа, волосы. Управляющий вспомнил, что через пару лет ему стукнет пятьдесят – дряхлость не за горами. И контракт скоро закончится – пора было подумать о возвращении на родину.

За всю предыдущую жизнь Александру Андреевичу Баранову не приходилось писать столько, сколько было написано за четыре года службы на островах. В крепости, в байдаре или в палатке скрипели его перья, а зрение так ухудшилось, что уже не мог читать при свете жировика самим собой написанное.

Он писал охотскому коменданту, оправдываясь на доносы промышленных и чиновных, писал отчеты о выполнении явных и секретных инструкций по государственной службе. Писал правлению компании, опять же оправдываясь на доносы, отчитываясь о проделанной работе, предлагая свои планы. И метался в замкнутом треугольнике между гражданским долгом, коммерческой выгодой и совестью.

Коменданту управляющий сообщал, что в Павловскую бухту заходили английские корабли «Дисковери» и «Чатам» под командой морехода Ванкуверта, бывшего здесь шестнадцать лет назад под началом командора Кука. Экспедиция описывала Кенайский, Чугачкий и Якутатский заливы. Руководству компании писал, что выгодно купил фрегат с частью пушек и ходовым товаром в обмен на бот и меха, что встретил здесь новопостроенный в Охотске пакет-бот «Северный Орел» под началом служилого англичанина Шильца и отправил его в Якутатский залив прикрыть партию передовщиков Пуртова и Куликалова.

Управляющему Уналашкинскими промыслами он позволял себе пожаловаться на жизнь. Только ушел из Павловской бухты бот с мехами, как открылось, что корпус фрегата прогнил и не пригоден для дальнейшего плавания. Со дня уговора с судовладельцем команда по ночам

тайно откачивала воду. Брошенные Муром матросы и толмач винулись, что знали об этом, но молчали из страха перед хозяином.

Из Охотска прибыл пакетбот под началом коллежского регистратора Шильца. Иностранец на российской службе в статском мундире, в ботфортах и шляпе смотрел на Баранова, в урилей парке и стоптанных броднях, с презрением, называл его проходимцем и собирался самовольно отправиться на поиск новых земель. Пришлось снизить до кулачков для уважения компанейской должности управляющего.

Стычка с Шильцем заставила Баранова о многом задуматься. Чтобы не унижать в глазах иностранцев достоинство губернатора острова стоптанными сапогами, он вынужден был уклониться от встречи с командором Ванкувертом. А потому Александр Андреевич слезно просил Емельяна Григорьевича Ларионова, управляющего с Уналашки, за любые деньги прислать ему дюжину голландских рубах, камзол и сюртук хорошего сукна, суконный плащ, шляпу, а также парик, ботфорты и часы с золотой цепью.

Нужда заставила его начать строительство верфи и разобрать купленный фрегат. Свои мастерские люди заново изготовили сгнившие части и спустили на воду наполовину новое судно. На носу его Баранов самолично вывел краской русские буквы «Финикс» и так называл свой корабль в письмах.

3. Встреч солнца

Под полозьями саней с рассвета до заката скрипел и скрежетал ноздреватый весенний лед. Люди компанейского обоза ночевали в жарко натопленных сибирских избах тракта, приказчик и староста ругались с ямщиками, зрителями станций, а молодые контрактники после долгого сидения в санях с жадностью хватались за всякую работу. Сысой обычно уже к полудню начинал дергаться и дурить, сердя степенного Ваську Васильева.

– Ну чего ты все скалишься?! – ворчал дружок.

– Так воля же, Васенька! – Скинув шапку, Сысой мотал головой, подставляясь ветру, глубоко и шумно втягивал носом запах талой земли. – Ишь, Евдокея-свистунья как веет?

– Лето будет раннее, прошлогоднее сено останется, – рассудительно заметил Васильев и вздохнул. Он уже тосковал о доме.

И Сысой, глядя на дружка, вспомнил теплую избу, подтаявший лед на окне, покойного деда, по слогам читавшего житие преподобномученицы Евдокии. Отец с дядькой, занятые починкой упряжи или обуви, одним ухом слушали чтение, другим – не начинается ли метель на Федота. Кольнуло под сердцем, что этого уже никогда не будет. Сысой скрипнул зубами, плотно сжал веки, помотал лохматой головой и опять стал тормошить Ваську. В санях началась возня. К шалунам обернулся сердитый ямщик, погрозил кнутом, зажатый в огромную медвежью рукавицу.

– А посиди-ка, дядька, вместо нас, отдохни, а мы лошадок погоним! – наперебой стали уговаривать его молодцы. – Мы дети крестьянские, из ямской слободы, все умеем.

Позже Сысою вспоминались храмы промелькнувших селений, лица без имен, сторож при Красноярской церкви с белой как снег бородой, с серебряными прядями редких волос, свисающих из-под старой поповской шляпы. Проходя мимо трактира, старик оступился на застывшей конской луже, завалившись на бок, елозил по льду посохом, не в силах встать на непослушные ноги. Васька с Сысоем подняли его, завели в трактир, там казаки и обозные, пожалев старого, предложили чарочку сверх чая. Старик с горючей болью в выцветших глазах зыркнул на штоф, видно, когда-то был в большой дружбе с винцом.

– Грех! – смущенно пробормотал, жадно втягивая носом хмельной дух. – Могу уснуть ночью!.. А, семь бед – один ответ! – Поколебавшись, скинул шляпу и обнажил круглую, как котел, блестящую лысину. – Батюшке не говори! – приказал целовальнику крепнувшим голосом. Вроде бы и росточком прибавил и в плечах раздался. Выпил чарку, молодецки крякнул и заводил носом, как драчливый петух с выщипанной шеей.

– За помин души его благородия господина капитана-лейтенанта Чирикова Алексея Ильича! На неделе снился со всеми нашими покойными матросами – к себе звал. Видать, помру скоро!

– Так ты, дед, еще у Беринга служил? – удивились казаки, подвигаясь ближе к старику. – Сколько же тебе лет?

– То я их считал! – гордо заявил церковный служка, польщенный общим вниманием. – Когда царица Лизавета приказала брить бороды и носить немецкую одежду, был уже в годах, служил... Слава богу, повидал всего. – Хмелея, стал разговариваться. – Молодому-то мне тогдашние старики сказывали – грешный мир кончается у Рипейских гор... На Камчатке они – ого-го! За морем еще выше, и нет слов, сказать, какие... За три дня пути – вроде облак, за два дня – будто льдина из воды торчит, а в виду суши – шею сломишь, голову задирая. Верхушка белая, ни птиц, ни туч, только солнце сперва во льдах разгорится, а после на небо катится. Там и есть темному царству конец, светлому – начало...

Старика слушали, не перебивали. Только целовальник усмехался да крякал, показывая, что рассказы церковного сторожа ему надоели.

– Бросили мы якорь против берега в трех милях, десять матросов с боцманом сели в шлюпку, отправились к земле. День ждем, неделю ждем... Что, вернулись? – Старик обвел слушателей блеклым взглядом, сложил морщинистые пальцы в дулю и, к неудовольствию сидевших, поводит ей перед носами. – Накось выкуси! Вернутся они обратно?! Тогда корабельного плотника и еще троих отправили на ялике. Видели, как те вышли на берег, просигналили: «высадились успешно». Ждем день, ждем два... Что, вернулись? – Старик снова обвел всех многозначительным взглядом и опять сложил кулачок в дулю. – Накось выкуси! Видать, нашли проход в царство Беловодское, а то бы и без весел, на плавучей лесине, обратно к пакетботу выгребли. То я среди диких не жил, то я их не знаю...

К зиме, кому дал Бог, вернулись на Камчатку. А после я, грешный, двадцать лет ходил за море с купцами и промышленными, хотел еще раз те горы увидеть. И что, увидел? – Старик снова заводил носом, складывая морщинистый кулачок...

– Ты, дед, дулю-то спрячь, – зароптали нетерпеливые.

Другие, боясь сбить рассказчика, зашикали:

– Пусть говорит как может!

– Годов через сорок, – продолжил слабеющим голосом, – слышал я в Якутском от обозных, будто шелиховские штурмана дошли. А после еще кто-то. – Старик свесил голову на морщинистой шее, тяжело вздохнул: – Коли всякому вояжному стал открываться конец грешного света, значит, скоро всему конец и Божий суд.

Казачи забеспокоились, видя, что старик ослаб.

– Выпей другую чарочку, авось дух укрепит и голову прочистит! – налили ему из штофа.

– Чего не выпить, коли нальют! – молодецки встрепенулся старик. Но, влив водку в беззубый рот, долго кашлял, шамкал губами, вытирал слезы, после и вовсе ослаб.

– Солдата Ивана Окулова со «Святого Петра» не помнишь ли? – стал тормошить его Сысой, сунул ему в карман гривенный, поскольку старик только сипел, хрипел и мотал головой. – Помолись за покойного!

Вдвоем с Васькой они подхватили служку под руки и отвели в сторожку при церкви.

Катился компанейский обоз по Московскому тракту, убегая от весны, а она неслась следом, наступая на полозья саней: уже к полудню чернела и мокла колея, оттаивали кучи конских катыхов, возле них молодецки скакали и дрались веселые воробы. Переменных лошадей на станциях подолгу ждать не приходилось. Где подарками, где подкупом приказчики получали свежих, не было казенных – нанимали вольных по деревням. Через Ангару переправлялись с предосторожностями, местные жители предупреждали, что река со дня на день вскрыется.

Двадцать второго марта, на Василия-теплого, обоз подъезжал к Знаменскому монастырю, озираясь по сторонам, путники крестились на купола церковей. Последние сани поднялись на крутой берег, сбились в кучу перед тесовыми воротами Главной Иркутской соединенной Американской компании купцов Голикова и Шелихова. Храпели и прядали ушами остановившиеся кони, громко перекликались повеселевшие ямщики, приказчик Бакадоров, выскользнув из распахнутого медвежьего тулупа, с похвальбой крикнул:

– Как енералы, прибыли из Тобольского за двадцать семь ден!

Из калитки выскочил служка в гороховом сюртуке и тут же скрылся. Другой, то ли чиновник, то ли сын дворянский с гладко выбритым лицом и двойной верхней губой, в сюртуке с чужого плеча, в мятой треугольной шляпе встал фертом против первой обозной тройки.

– Чьи будете? – спросил с такой спесью, что Бакадоров растерялся, хватаясь за шапку.

Но ямщик, подхватив коренного под уздцы, как пса, отшвырнул бритого в сторону, не успев ударить в ворота – они распахнулись. По двору бегали служащие, кто-то кричал, чтобы топили баню. Среди амбаров и пакгаузов стояли оседланные кони на привязи. При двухэтажном деревянном доме конторы был каменный флигель. На стене его – стрелы в разные концы света и надпись: «Кадьяк – 10 000 верст. Санкт-Петербург – 6015 верст». Староста Чертови-

цын, выгибая спину и вода плечами, затекшими от долгого сидения, ходил среди обозных и собирал деньги на молебен о благополучном прибытии.

Всю весну обоз пробыл в Иркутске на компанейских работах. Сюда со всех сторон стекались товары для транспорта: корабельное железо из Тельмы, свинец из Нерчинска, парусина и одежда, чай и спирт. Все копилось на складах шумного торгового города, чтобы обозами и караванами разойтись до полночных и восточных пределов.

Приказом иркутского генерал-губернатора и по Высочайшему указу к обозу Компании были приписаны тридцать пар каторжников из бывших томских крестьян. Их подневольно венчали на супружество и Высочайшей милостью срок наказания на Нерчинских рудниках заменили ссылкой на окраину Иркутской губернии – Аляску, для компанейских работ и государственной выгоды. Шумная толпа расконвоированных мужчин и женщин жила обособленной жизнью в отдельной казарме.

Тот, кто первым выбежал за компанейские ворота и кого тоболяки приняли за писаря, оказался таким же работным из иркутских мещан, Тимофеем Таракановым. Он ходил в городском сюртуке и козловых сапогах, был тощим и курносым, знал грамоту лучше отца Андроника и даже умел лопотать на чужих языках. Говорили, будто его отец имел книжную лавку, и Тимофей, в лавочных сидельцах, прочитал все книги, какие есть на свете. От гостиного двора он далеко не отходил, боялся встретиться с женой, от которой бежал за море.

Если надо было о чем-то договориться с приказчиками или с заносчивыми писарями, тоболяки просили Тимофея, и тот добивался своего без криков и угроз. Сысой же с Васькой Васильевым, как увидят его с топором в руке, смешливо переглянутся и сами сделают простую работу. Так, друг другу полезны, они подружились и выбрали Тимофея Тараканова передовщиком чуницы.

В конце апреля, на святого Максима, когда в березовых колках закапал сладкий сок, обоз был готов к выходу. Отстояв обедню в церкви и молебен у компанейских складов, караван телег двинулся по торной дороге. Снова захрапели кони, заскрипели колеса и скрылись из вида иркутские купола.

Четвертым к чунице пристал беглый московский холоп, укрытый, а потом откупленный Компанией, тот самый, что своим важным видом смутил у ворот приказчика Бакадорова. Крикливый, вороватый и нахальный, он убедил связчиков взять на чуницу из обозного груза десятипудовый корабельный якорь: дескать, караулить не надо, не украдут. Предложение показалось дельным даже умному Тимофею. Но когда трижды поменяли сломанные оси, перекладывая якорь с телеги на телегу, придумался и затосковал сам беглый холоп Куськин.

На Лене-реке обоз перегрузили на барки. Тимофей с Сысоем и Васька с холопом заволокли якорь на судно, положили, радуясь, что лежать ему здесь долго. Местами быстро, местами неторопливо текла река Лена. Васильев, выбранный чуничным старостой, принес котел гречневой каши, заправленной коровьим маслом. Четверо сели кружком возле якоря, скинули шапки, почитали «Отче наш», принялись за еду. Тоболяки ели чинно, не спеша. Тараканов – равнодушно, думая о своем, Куськин наложил каши в отдельную чашку, раз-другой зацепил ложкой, повалял во рту и скривился:

– Экую грубую гастрономию приходится есть из одного котла с мужиками! – Ожидая понимания и поддержки, взглянул на Тимофея, которого считал за своего.

Тот молча пожал плечами: каша как каша!

– Ты, знать, что собака, привык за барами объедки вылизывать! – нравоучительно посмеялся Сысой. – Оттого не лезет в горло русская еда.

– Что ты понимаешь в еде? – осклабил двойную губу Куськин, придав надменному лицу холуйскую угодливость. – Это благородные после меня доедали. Я всякое кушанье пробовал первым, а потом в белых перчатках подносил господам. А не понравится какой генералишко, плюну ему в блюдо, после перед ним на стол поставлю. А он ест и нахваливает.

– Чего тогда с нами увязался? – хмуро и недоверчиво спросил Васильев.

– Бес попутал, соблазнился хозяйской девкой. Узнал бы барин – убил, – со вздохами по былой жизни Куськин опустил глаза на стывшую кашу и с набитым ртом зашепелявил, кивая Тараканову: – Эти-то слаще репы ничего не ели, а знаете, что такое «суфле»?

Сысой поперхнулся, загоготав, Васька сморщил нос, будто проглотил муху.

– Дураки! – презрительно скривился Куськин и со скорбным лицом стал жевать, глядя вдалеку. – Вечером пойду к Чертовицыну, рыбы попрошу.

– Зачем просить? – стал наставлять Васильев. – Ночь не проспим, добудем.

– Очень надо в реке мокнуть, – потянулся Куськин. – Мне так дадут.

Под Якутском каторжные из томских крестьян, государевой милостью выдворяемых на поселение вместо каторги, поймали его на краже. Били жестоко, чуть живого бросили на таракановскую барку. Беглый холоп охал и скулил:

– Свои, а не вступились!

– У нас в слободе за воровство убили бы до смерти, – поучал непутевого связчика Васильев. – Благодарю Бога, что жив, и мы тебя, битого, приняли.

Тимофей смущенно помалкивал, макал шейный платок за борт, подавал Куськину приложить к кровоподтекам.

Возле Якутска барки переправились на правый берег Лены и причалили в небольшом заливе. На суше стояли избы, пакгаузы и четыре якутских юрты, крытые дерном. Место называлось Ярмонка и, как говорили бывалые люди, всякий путь в Охотск начинался отсюда. Здесь караван уже поджидали служащие Компании: у пристани стояли быки и телеги. Другие чуницы быстро перекидали в них пушки, котлы, мешки, ящики, тоболяки же с Тимофеем Таракановым и Куськиным едва положили якорь на возок, – треснула березовая ось.

– Ох, за дело тебя бьют, холоп! – хрипел Васильев, в очередной раз перегружая поклажу.

Из конторских служащих им охотно помогал приветливый мужчина в кожаной рубахе: высокий, стройный, широкоплечий, ладно и крепко, но не по-крестьянски скроенный. Когда наконец быки потащили телегу с якорем, он скинул суконную шапку, надвинутую до бровей, на лбу, полускрытое мокрыми от пота волосами, обнажилось клеймо убийцы. Звали ссыльного каторжника Агеев. Сделавшись после Нерчинских рудников порядочным гражданином, он тоже следовал с транспортом на Кадьяк. Среди якутских горожан таких поселенцев было много. Они жили вольно, вели себя скромно, имели доверие чиновных, казаков и якутов, населявших город.

Ревели быки, скрипели телеги, храпели низкорослые и злые якутские кони, стегая себя по бокам длинными хвостами. Обоз шел летней дорогой от станции к станции, которые чаще всего состояли из нескольких кошмяных юрт и урасов – тоже юрт, но сделанных из жердей и покрытых дерном. Здесь временно проживали сезонные ямщики якутских подрядчиков.

Дорога была сносной. Обоз шел среди перелесков березняка и лиственницы, на пути встречалось много озер. Изредка путники ночевали в якутских селениях, в юртах князьков – как здесь называли старост из богатых ясачников. Васильев смеялся, что Сысоева родня в слободе искони княжеская, да только по якутским законам.

Якуты встречали обоз ласково: выходили навстречу, помогали сойти с лошадей, вели в юрты, раздевали, развешивали одежду сушиться. В дымных летниках они не выпускали изо рта трубок, коротких, расколотых надвое, стянутых ремешком. Для крепости в табак подмешивали стружки, затягивались глубоко, считая дым полезным, сами накуривались до столбняка и гостей обкуривали так, что долго не хотелось думать о табаке.

Якуты дарили обозным таежные лакомства и разные меха: шкурки лис и белок. При этом больше всего радовались, когда у гостей оказывалась водка. Тут уж они старались заполучить ее побольше.

При якутских князях обычно служили писари из старых казаков, которые радовались гостям больше всех и говорили без умолку, стосковавшись по родному языку. От них обозные знали, что многие в улусах знают Закон Божий, но крестятся неохотно и только бедные, чтобы не платить подушный ясак. Кто богаче, тому не нравится, что русский Бог разрешает иметь только одну жену. «Русский Бог – хороший Бог, – говорили, – но вредный, как старик: зачем-то заставляет кушать то, чего у нас нет, и запрещает то, что у нас есть? Если бы Он понял вкус конского жира, когда его запиваешь топленным коровьим маслом, ел бы только это и другим бы позволял».

Якутские возницы не говорили по-русски, но все казаки, сопровождавшие обоз, свободно изъяснялись по-якутски. Здесь, за Ленной, многие из них, вопреки давнему царскому указу, носили бороды, одевались в кожаные штаны и камлайки. Старшим среди них был десятник Попов – высокий, по-юношески стройный, хотя в его бороде пробивалась первая седина. Как-то к вечеру обозу не удалось дойти до станции, и Попов велел свернуть в сторону от тракта, остановил всех на продувном месте среди редколесья, приказал распрягать уставших лошадей и быков, ночевать у костров. Якуты устроились особо и всю ночь пировали отпущенным провиантом.

– Вы им сразу помногу не давайте! – наказал казачий десятник приказчику Бакадорову и старосте Чертовицыну, ткнув плетью в сторону жующих возниц. – Они могут зараз сожрать недельный запас, а после станут пухнуть от голода. – Обернулся к тоболякам: – Здорово ночевали, дети крестьянские?

– Слава богу! – отвечали те.

– Убивец воду не мутит? – кивнул на зевавшего Агеева.

– Работает, как все, – ответил Васильев. – Ничего плохого о нем не скажем.

– Ну и ладно! – Казак насмешливо взглянул на каторжника. – После рудников они тихие. Как почуют, что назад не вернут – переменятся. – Причесав пальцами бороду, оглянулся по сторонам. – Другую ночь, даст бог, будем ночевать возле Амгинской слободы, баню истопим, в церковь ходим. Там, на переправе, наша станция.

К вечеру обоз вышел на широкую ложину, вдали открылось селение дворов на двадцать, на пригорке стояла деревянная церковь с крестом на крашеном куполе из дранья. Навстречу уставшим пешеходам и коням побежали бородатые мужики и светловолосые парни, но двигались они как-то чудно, переваливаясь с боку на бок, будто ноги были короткими.

Улыбаясь, к Сысою подскочил голубоглазый парень, взял из рук повод, пробормотав «дарова», что-то залопотал. Тоболяки от удивления разинули рты. Подъехал молодой казак на лохматой низкорослой лошадке, его ноги в стремях свисали до земли.

– А, Егорка?! – кивнул слободскому парню и тоже залопотал по-чужому. Тот радостно отвечал, поглядывая на обозных. – Поп в слободе помер, – по-русски сказал казак. – Последний, кто умел говорить по-нашему. Егорка спрашивает, нет ли в обозе духовных, чтобы отпеть его по православному обряду?

Утром Сысой с Васькой уже сами себе удивлялись: с чего насельники Амгинской слободы показались им русскими? Разве волосы да глаза у многих светлые, в остальном и живут, и едят по-чужому, и дух в домах не свой, а приглядишься, вроде и лицами на якутов похожи... Чудно!

Казачий десятник был сыном тоболячки, потому выделял молодых работных. Посмеиваясь их неведению, сказал, что прадеды этих насельников – крестьяне из России, обосновались здесь больше ста лет назад, чтобы сеять хлеб. Но тут вызревали только яровые, пахотным работы мало, а держать скотину, жить праздно, как ясачные якуты, соблазн велик. Мало-помалу здешние крестьяне стали запахивать только государеву десятину, потом и вовсе бросили хлебопашество, теперь уже и язык свой забыли. Таких много по якутскому краю. Казак набил табаком трубку, короткую, расколотую надвое, стянутую ремешком, чтобы легче было чистить.

– Эко диво! – сказал, выпуская из бороды клубы дыма. – Мы к тому привыкли: есть обрусевшие среди ясачных, есть одичавшие среди податных.

Мост через Амгу-реку был исправен, переправившись по нему на другой берег, обоз пошел дальше, встреч солнца. В полдень над головами людей и лошадей злобствовали слепни, а по сырым, тенистым и безветренным местам заедала мошка, но до Бельской переправы через Алдан, где была устроена обычная станция, путь был сносным. А здесь пришлось задержаться из-за проливных дождей.

Спокойная с виду речка разлилась, разъярилась бурунами, течение понесло камни и вырванные с корнем деревья, снесла крепкий мост из бревен. Но кончились дожди, и река вошла в свои берега так же быстро, как разлилась. Тут выяснилось, что из-за дождей болота стали топкими, держат только верховых лошадей: телеги надо бросать у переправы и перекладывать груз в переметные сумы. Таракановская чуница втайне радовалась, что якорь придется бросить на станции, но приказчик велел расковать его, отделить лапы и грузить на разные пары между двух коней на качки-волокуши.

При переправе без моста утонул возница вместе с лошадей, но груз был цел и дальнейший путь открыт. Обоз двинулся берегом речки Белой – притока Алдана, по восемь груженных лошадей в поводу, с одной заводной при каждом вознице из якутов. Все казаки тоже ехали верхами, обозные люди брели пешком.

Тракт пропал: не стало ни дороги, ни гатей, ни мостов через ручьи. Таракановская чуница вела шесть коней парами в поводу, на седьмой, попеременно ехали сами. Якорь, даже без лап, цеплялся за кусты и деревья, ломал волокуши. Агеев, визнав, что взяли его по совету беглого холопа, с каждым днем все злей ругал Куськина, и за дело: однажды всем пятерым пришлось нырять в ледяной воде, чтобы вытащить из реки тяжеленный якорный остов. Беглый холоп отбрехивался, быстро уставал, цеплялся за конский хвост, чтобы легче переставлять ноги. Однажды шустрая якутская лошадка лягнула его в живот, он охал и стонал, сгибаясь и разгибаясь, пока не посадили в седло. Сев, сразу повеселел, а Агеев стал прилюдно грозить утопить его в ближайшем болоте.

Речка с берегами, заваленными то обломками скал, то крупным круглым окатышем, все выше поднималась в горы, но вместо ожидаемой сухости болот и зыбунов становилось еще больше. Среди них уныло торчали редкие большие деревья, на ветках висели космы зеленого мха. Качалась под ногами зыбкая твердь, от шагов людей и коней раскачивались косматые деревья, впереди и по бокам обоза пологими волнами колебалась земля. Где-то то и дело кричали люди, развьючивая лошадей, провалившихся по самое брюхо. Жгло солнце, в безветрие грыз гнус, да так, что невозможно было поднять сетку с лица, а под ней не хватало воздуха, по лицу ручьями тек пот.

Вскоре обозные вышли и вовсе в лешачьи места с черным сухим лесом, причудливо окаменевшим на ветрах. Отощавшие якуты драли волос из грив и хвостов коней, развешивали на сучьях, где его и без того было много. Казаки говорили, что эти горы почитаются у них и тунгусов за божков.

Бакадоров ругался, корявя русский язык на местный манер, втолковывал обступившим его якутам, что они съели весь припас, отпущенный им до Охотска. Староста Чертовицын, солдатский сын и отставной прапорщик, в смех соглашался накормить досыта хоть одного возницу, чтобы знать, сколько харча им надо. Казачий десятник хохотал, нахлестывая плетью по голяшке сапога.

– Скорей ты станешь есть конину, чем якута накормишь кашей!

Бакадоров заспорил, закуражился, бросил шапку оземь:

– Была не была! Попробуем за свой счет!

Вечером они со старостой Чертовицыным велели сварить полный котел саламаты из ржаной муки, бросили в нее три фунта коровьего масла, взвесили – вышло двадцать восемь. Выбрали самого тощего из якутов:

– Подходи и ешь сколько влезет!

Сперва брови у приказчика и отставного прапорщика поднялись под шапки. Потом, испугавшись, что шутка может плохо кончиться, оба забегали вокруг якута, упрашивая хохочущих казаков сказать ему, чтобы срыгнул, а то помрет. Брюхо у едока отвисло, зад разбух. На зависть друзьям он дохлебал остатки саламаты и, поднявшись на ноги, не понимал, что за знаки делает напуганный начальник-башлык.

Утром Бакадоров и Чертовицын навестили наевшегося возницу. Он опять был тощ и не прочь подкрепиться. Дружки его, по якутскому обычаю, с хмурым видом лежали возле костра и не хотели работать, пока не начнут обозные.

Вскоре встретились казаки, возившие в Охотск почту и потерявшие в пути всех коней. Десятник Попов приказал устроить дневку. Обоз встал табором возле небольшого таежного ручья. Люди стирали одежду и парились в походной бане, якуты лежали возле дымного костра, ожидая очередной раздачи провианта. Вдруг захрапели, заволновались кони, сбиваясь в табун. Якуты похватили пальмы – рогатины с коротким черенком. На поляну выскочил медведь. Казаки схватились было за ружья, но десятник успокоил их:

– Не шумите! Без нас договорятся!

Якуты обступили медведя, кланялись ему, называя по-своему дедушкой, уговаривали не трогать лошадей. Но медведь попался вредный и несговорчивый, оцарапал кобылку. Якуты его зарезали, и, немногословные прежде, они наперебой затараторили: кто знал одно или два русских слова – повторял беспрестанно, кто три-четыре – тараторил без умолку. От того у якутского костра звучала одна корявая русская брань. Другие каркали, как вороны, или что-то лопотали по-тунгусски. При этом они быстро ободрали зверя, испекли мясо и съели, не разделяя суставов.

Потом, чмокая и облизываясь после жирного обеда, один из них спросил по-якутски:

– Кто это дедушку убил?

– Не знаю, – ответил другой, вытирая мхом сальные ладони. – Наверное, урусы или тунгусы!

– Мы ничего не знаем, – поддакнул третий. – Подошли, глядим, косточки лежат. Мы их собрали, в шкуру завернули, сейчас на дерево повесим... А плохого мы ничего не делали. Ты уж на нас, дедушка, не сердись!

Десятник, переводивший тоболякам якутский разговор, набил табаком короткую трубку.

– На нас все валят. Пуцай! Перед Богом, поди, оправдаемся...

Вскоре к таежной речке без опаски выскочили олени, потом еще и еще. Обозным встретились тунгусы – лесной народ, которому в тягость жить на одном месте дольше двух недель. С их помощью компанейский груз дотянули до Юдомо-Крестовской станции. К этому времени Таракановская чуница, так намучилась с якорем, что приказчик согласился оставить его здесь, хотя в Охотске он стоил не меньше пятисот рублей.

Разговоры о перевале через хребет Джугджур заводились на всякой станции от самой Ярмонки. На пути к нему было много возвышенностей, на которые поднимались, с которых спускались. Хребет, разделявший стороны света, виднелся издали, но в тупой обыденности переходов, тяготах переправ, вынужденных стоянок и ночлегов о нем мало думали, и вдруг оказалось, что на Джугджур уже выбрались. Это была небольшая седловина с поляной, покрытой горной травой. На ней стояли два тесаных креста. В один из них была вставлена иконка Николы Чудотворца, в щели втиснуты позеленевшие медные монеты. Отсюда далеко просматривались горы и болота на обе стороны. Место хорошо продувало, гнуса не было, и Сысой

с Васькой расшалились на привале. К ним подошел спешившийся десятник Попов, глаза его были красны от усталости и забот:

- Как насчет компанейской чарки?
- Сегодня день постный?!
- Завтра получите! – усмехнулся казак в седеющую бороду.
- Бежать вперед, готовить табор? – вопросительно взглянул на него Сысой.
- Бежать! Только в обратную сторону. – Десятник указал плетью на пройденный склон. –

Мы медленно идем. Следующий обоз наступает нам на пятки, а выпасов внизу мало. Вернетесь, найдете полусотника, скажете, чтобы встал на дневку.

Еще не зашло солнце, когда молодые тоболяки вернулись в сырой лес под перевалом. Обходя разбитую колею, выбрались на заболоченную полянку и увидели чудище. Сысой присел, скрываясь за кустом. Рядом с ним опустился на четвереньки Васька. На кочке сидел кто-то черный и косматый, больше похожий на человека, чем на зверя, и, как поросший мхом пень, шевелился, пуская дым.

У Сысы была фузеея. Но дружки помнили строгий наказ казаков – не стрелять ни во что непонятное. Да и пули заговоренной не было, а простая, свинцовая, известное дело, от нечисти отскочит и полетит в стрелявшего. Сысой передал ружье Ваське и пополз, обходя чудище стороной. Крался осторожно: сучок не хрустнул, травинка не шелохнулась. Зашел сзади, перекрестил болотное чудо-юдо и приставил заговоренный дедов нож к его шее.

Лешак вскочил, из-под кожаного плаща высунулись две ручки, вывернув нож, схватили Сысы за локти. На брюхе чудища блеснул золоченый крест. В следующий миг косматый и бородатый мужик с лицом, закрытым сеткой, зарычал, навалился. Сысой откинулся назад, вскинул ноги, упершись ему в живот, как учил брат Федька, и перекинул через себя. Тут подбежал Васька, стал вязать ручки кушаком. Чудище дернулось всем телом и заорало так, что Сысой присел от боли в ушах. «Оно и лучше, что кричит, – подумал, – обозные прибегут, разберутся».

Первым из кустов выскочил барин в морском мундире с косицей и бантом на затылке. Глаза его были черными и круглыми, как пуговицы, в одной руке шпажонка, в другой – сорванная с головы сетка из конского волоса. Не спросив, что к чему, и размахивая шпажонкой, он бросился на Ваську. Тот, боясь поранить служилого, отбил фузеей удар, другой. Сысой с семи шагов метнул топор, целясь топорщиком в лоб, и не промахнулся. Барин выпустил шпажонку и сетку, закатил глаза, как забитый петух, и сел в жигу между кочек.

Из кустов выскочили два казака с открытыми лицами, один седобородый с серьгой в ухе, с кнотом в руке, другой был молод, щеки его покрывала двухнедельная щетина, по ней расправлены холеные усы. Сысой с Васькой помнили его по Ярмонке и обрадовались знакомому. Между тем связанный выгнулся дугой и опять заорал. Вместе с шапкой с его лица слетела сетка, обнажив русское лицо. Седобородый казак развязал кушак, высокий и дородный детина, скинув плащ, вскочил на ноги и оказался в черном подряснике. Задрал подол, он сунул руку в карман, бросил на землю трубку и пригоршнями стал заливать болотной водой тлевшие суконные штаны.

– Бог тебя наказывает, брат Ювеналий! – Из-за спин казаков вышел седобородый монах в архимандричей мантии. Сетка была откинута с его лица, глаза строжились.

- Отче! – взмолился бородатый детина. – Не удовольствия ради, от мошки спасался.

Сысой с Васькой обмерли от конфуза, сорвали с голов шапки, стали кланяться в пояс. К ним подходили все новые люди. Двое чиновных в гороховых сюртуках подхватили под руки мотавшего головой черноглазого в мундире. Посмеиваясь, тоболякам кивнул знакомый казак с холеными усами.

- Того не жаль! – кивнул на морского офицера. – Этого-то за что? – поднял плащ монаха.
- Так, думали нечистый, не опознали... А тот выскочил и давай тыкать спицей...

Казак приглушенно заржал, потряхивая пышными усами, и повел тоболяков к лагерю.
– Откуда знать?! – оправдывался на ходу Васька. – День постный, сидит на кочке, страшный такой, дым пушает...

Сопровождавший их казак захохотал в голос.

– Ты чего? – спросил его нестарый еще другой служилый, в бараньей шапке и в зипуне с полами, заляпанными болотной грязью. Он был высок, широкоплеч, строен и жилист, как десятник из обоза, только седины больше и борода в пояс. Старый казак, распрягая нетерпеливо перебиравшего копытами коня, бросил на траву седло.

– Соколики с переднего обоза! – указал плетью на посыльных казак-балагур. И снова прыснул, закинув голову: – Удальцы! Гардемарину Талину рог меж глаз удружили... На полвершка, не мене. Отцу Ювеналию муди опалили!

– Монаха-то за что? – Долгобородый удивленно приподнял брови под край шапки, взглянул на гостей пристальной.

Сысой, помявшись, опять начал оправдываться, потом вздохнул, мотнул головой и спросил:

– Ты, должно быть, полусотник и родственник нашего десятника?

Казак в зипуне кивнул, догадавшись, кем присланы юнцы:

– Как там брат? Жив-здоров?... Ну и слава богу!

Он внимательно выслушал все, что велено передать.

– Дневку так дневку! – сказал равнодушно. – Помогите разбить лагерь и ночуйте, где хотите. Староста харч даст. – Опустился на колено перед конем, подергивавшим шкурой и хлеставшим себя по бокам длинным хвостом, спутал копыта, распрямился, поддал ладонью по крупу, отпуская пастись.

К вечеру отлютовал овод, прижалась к земле мошка, обозные люди снимали с лиц сетки из конского волоса. Взлетали в небо искры костров, выписывая в воздухе свой короткий путь, деловито попискивали комары, позвякивали ботала на спутанных конях. Сысой с Васькой расположились у костра казаков. В их котле булькала уха, кипящий жир, словно пеплом, затягивало слоем нападавшего гнуса. Старый седобородый казак с серьгой в ухе, с кнутом за голяшковой, помешивая варево сучком, подцепил рыбину:

– Готова, пожалуй!

Возле костра расстелили подседельный потник, насыпали ржаных сухарей, сняли котел, чтобы остудить. Тот же крепкий седобородый старик обнажил голову, выпрямился, скомандовал:

– На молитву, шапки долой!

Почитав «Отче наш», крестясь и кланяясь на восток, черному лесу, казаки помолились, а с ними и тоболяки. Затем сели, привычно отмахиваясь от комаров, принялись за еду: дули на ложки, хрустели сухарями. Из редких сумерек вышел монах, с которым случился конфуз. Сысой с Васькой вскочили, снова стали кланяться, сгибаясь, как журавли на кормежке.

– К нашему столу, батюшка! – запросто пригласили казаки. – Вот спорим, комар постный или скоромный, ишь сколь в котел нападало.

– Бог простит! – басом пророкотал монах. Потрепал тоболяков за волосы на опущенных головах. – Осрамили, ушкуйники...

– Прости, батюшка, невзначай!

– Что уж! – добродушно рассмеялся монах. – Не вы, Бог наказал грешного!

Казаки сдержанно загоготали, Ювеналий присел возле костра, пригладил бороду:

– Ешьте, а то уха остынет, – кивнул тоболякам. – Проголодались небось?

Сысой с Васькой сели, смущенно потянулись к ложкам. Похолодало. Прояснилось и слегка вывездило небо. К костру подошел другой монах, взглянул на сидящих приветливо. Сысой с Василием опять вскочили и начали кланяться.

– Экие вы вежливые, – пророкотал отец Ювеналий. – Так и голодными останетесь.

Сысой вдруг замер, изумленно глядя на подошедшего. «Где мог видеть его?» Шелковистая борода, чуть наклоненная вперед голова, глаза, сияющие цветными камушками. Ощупав гайтан на шее, притронулся к образку Сысои Великого. Икнул от удивления, понял, на кого похож подошедший, а тот, будто догадавшись о смятии юнца, улыбнулся одними глазами, кивнул и ушел. Сверкнула зарница над лесом, порыв ветра качнул верхушки деревьев. По мгновению тишины Сысой почувствовал, что казаки тоже смутились.

– Кто это? – спросил срывающимся голосом.

– Герман, инок из нашей миссии, – приглушенно ответил иеромонах Ювеналий. – Вместе с тобой, ушкой, следуем на Кадыак. Вот уже я тебя там воспитывать стану, а то ишь... Преподобного в болотную лужу харей.

– Где они? – раздался из сумерек визгливый голос. На поляну выскочил гардемарин с перевязанной головой, в руке опять была обнаженная шпага. Седобородый казак с кряхтением поднялся, тряхнул кнутом, змеей вильнувшим в вытоптанной траве:

– Не балуй, барин, здесь не Московия!

– Полусотник! Ко мне! – крикнул гардемарин, затоптавшись на месте.

– Чего тебе? – проворчал казак, приподнимаясь на локте.

– Арестуй этих, – указал шпагой на тоболяков, – не то в Охотске сдам коменданту за бесчестье государева офицера!

– Нехорошо, право, Гаврила Терентьевич, – смущенно пророкотал иеромонах Ювеналий.

Гардемарин выругался, покричал еще о чем-то, угрожая казакам, и скрылся среди редких деревьев и кустарника.

– Напугал, сопляк! – проворчал полусотник Попов, поправив седло под головой. – Не успел Сибири повидать, жалобами начальству грозит. Да я с нынешним полковником и его предместником столь верст по тайге находил, сколь этот щенок молока не высосал.

– Среди «ахвицеров» других, поди, не бывает, – с важным видом изрек Сысой. – Не юродивые – так бесноватые!

– Ох, и займусь я тобой, удалец, – с усмешкой пробасил Ювеналий. – Я ведь тоже из офицеров.

Как призрак из сумерек, опять бесшумно появился инок Герман. Готовившиеся к ночлегу казаки почему-то обратились к нему, а не к Ювеналию:

– Благослови, батюшка?!

– Да какой же я батюшка? – ласково отказался тот. – Не имею чина! – И кивнул на Ювеналия, а тот не стал отнекиваться.

– Благословен Бог наш... – ласково перекрестил сидевших и лежавших у костра.

– Спокойной ночи, детушки, храни вас Бог! – приглушенно сказал густым голосом и поднялся, ожидая, что за ним последует инок. Но тот медлил, глядя на тоболяков, готовых опять вскочить на ноги.

– Возвращаетесь одни? – спросил тихо.

– Вдвоем! – поднялись они.

– За перевалом, должно быть, оползни после дождей. Будьте осторожны, не сидите под камнями!

– Не беспокойся! – снисходительно улыбнулся полусотник. – Я пятнадцать лет хожу в Охотск и обратно. И отец, и дед этой дорогой хаживали. Места, конечно, лешачьи, но если налегке – опасности нет. Разве дурной медведь бросится. Так это по всей Сибири...

Инок помолчал, вздохнув, и настойчивей повторил:

– По сторонам поглядывайте, от камней держитесь подальше!

Кто-то уже тихо посапывал, натянув шапку до самого носа, подставляя бок или спину огню. Полусотник, мостясь, опять приглушенно выругался, вспомнив зловредного гардемарина:

– Ничо, Сибирь-матушка спесь обломает. Старики, что на «Святом Петре» у командора Беринга служили, сказывали: сперва немцы да баре, чуть что не так – орали, бывало, казака или солдата – и кулаком в зубы. У них такой порядок: ты начальник – я дурак, я начальник – ты дурак! Немецкий порядок – хороший порядок, пока все сыты, одеты и в казарме тепло. А как одна забота – быть бы живу, глядь, и те обрусели, не то что этот...

Когда «Святой Петр» попал в бурю, какой прежде никто не видывал, командоровы люди стали помирать один за другим – кораблем править было некому. Куда делся немецкий порядок?! Команды отменили, выбрали атаманов, стали сходами думать, как выжить, и все пошло по нашей старине. Сказывают, немцы по-своему лопотать перестали, веру нашу приняли и в Сибири свой век дожили.

Полусотник, морщась и прикрывая бороду плечом, подкидал веток в костер. Огонь поднялся выше, пахнул дымом в лица.

– Чего еще отец сказывал? – спросил кто-то, зевая.

– Как покойных хоронили! – полусшепотом ответил казак и с опаской оглянулся на темный лес. – Пока одного в яму опускали, другим песцы отгрызали уши, носы, губы, пальцы, десятками за покойником в могилу прыгали. Приходилось мертвых вместе с песцами закапывать, а земля-то из-за них шевелилась...

Во тьме кто-то резко перестал храпеть и зачмокал губами. Покряхтев, сел уснувший было обозный казак, покрутил сонной головой, достал трубку:

– Тьфу! Дурь! К ночи про покойников!

Ему никто не ответил. Люди у костра недолго молчали.

– Разве то страхи? – зевнул старый белобородый казак. Повернулся спиной к огню, растирая поясницу. Отблеском углей зарозовела серьга в ухе. – Знать, страхов-то батька тебе рассказывать не стал. Я в отроках был, когда командоровы люди вернулись в Охотск. Помню. А с последним вояжем Емели Басова сам побывал на том острове, где они зимовали и хоронили товарищей. Могил уже тогда было не сыскать, а пакгауз с казенным добром, с пушками и пакетбот, выброшенный на берег, еще стояли. Палуба была разобрана, борта местами тоже. И были среди наших партовщиков беринговские и чириковские матросы. Они много чего сказывали. Хоть бы и про бурю! – Морщась и покашливая от дыма, старый казак поправил угли в костре, задумчиво помолчав, продолжил: – Думаете, отчего чириковский пакетбот «Святой Павел» был в тех же местах в то же время, но таких бурь не претерпел?... Потому что на «Петре» было много немцев, а они ни крест на себя не кладут, ни постов не знают, делают все поперек нашего и наоборот. Сказывали, адъюнкт-профессор Штеллер и вовсе с нечистой силой знался. Я его в Охотске видел...

Так вот, этому Штеллеру надо было бежать в Америку, а ему не дали, силком на корабль вернули оттого, что командор Беринг, глядя на берег, тряся от страха и стучал зубами, что это не Вест-Индия и надо возвращаться, пока живы. А запас снеди у них был на полтора года вперед. Штеллер призывал хотя бы зазимовать и весь обратный путь по-песью выл, подбивая штурманов к бунту, чтобы плыть в обратную сторону. А после добыл медный котел, стал травы заморские варить и бурю призывать. И такую накликал, что сам до полусмерти испугался, а остановить не мог. Тут и на латинян мор напал. Первым преставился старый штурман Эдельберг лет семидесяти от роду. Говорили, добрый был старик и перед кончиной сказал, что полвека по морям плавал, а такой бури не видывал.

Преставился он, положили его в трюм с другими покойными. Ночью стояла русская вахта: Софрон Хитров с матросами. А волны по морю, что горы, пакетбот скрипит, будто разваливается. Ветер противный, матросы мучаются на мачтах, корабль идет галсами. Вдруг Софрон

как завоюет, засрамословит, матросы завопили: «Спаси и помилуй!» А утром рассказали, что на шканцах являлся им старый штурман Эдельберг и рукой махал, будто сказать чего хотел.

Другую ночь вахту стоял старый Ваксель с сыном и с немцами. И те в полночь завывали, что охотские собаки зимой. Ваксель орет, глаза шляпой закрывает, матросы штурвал бросили. Большой командор чувствует, «Петр» разворачивается боком к волне, выполз из каюты, а покойный Эдельберг его в трюм манит. Что он ему там сказал, того никто не знает. Только сказывали, будто на другой день Беринг собрал всех немцев и велел им целовать крест, чтобы, кому Бог даст выжить – перекрестились бы в веру православную и всю оставшуюся жизнь за погибших молились. А Штеллера велел привязать к мачте и не давать камлать.

Только они так сделали, буря стала стихать, и показалась земля. Все думали, что Камчатка. Больные выползали на палубу, иные узнавали двуглавую гору против Авачинской губы, маяк при входе, другие Шипунский мыс. Пакетбот шел галсами, а на ногах держались только десять из шестидесяти. Они и правили кораблем, хотя сами были чуть живы. Командор уже вовсе не вставал, только советовал искать вход в Авачу. Подошли они к берегу, спорят, какое это место и решили встать на рейд. Бросили якорь, но первая же большая волна оборвала трос, как нитку, другая подняла тяжелый пакетбот на гребень и чудным образом перекинула через камни в залив. Здесь бросили они другой якорь, он лег на дно и зацепился. Живые стали возить мертвых на берег, строить землянки.

Через месяц преставился старый командор. Он хоть и был выкрестом, но в прежние годы, напоказ или от души, возил с собой походную церковь и держал при себе черных попов. На острове его поспешно закопали, вместо креста положили камень, хорошо помянули крепким винцом, а утром нашли тот камень в другой стороне. И с тех самых пор спорят, где его могила. Прошлый год вел я из Охотского острога обоз купца Голикова. Его промышленные были на том острове, искали командорову могилу, но не нашли и поставили всем погибшим шестиконечный крест возле места, где был пакгауз. А утром, говорят, крест покосился.

Ну, да это только присказка. Дальше слушайте. – Старый казак придвинулся к прогоравшему костру и продолжил сипловатым приглушенным голосом: – Хоть на пакетботе и был богатый съестной припас, но от цинги в море он не спасал. Божьей милостью спасшиеся люди отъелись на суше свежим мясом, птицей, рыбой, и мор прекратился. Обошли они землю, на которую были выброшены, и поняли, что находятся на острове. Зимовали там, расшили пакетбот, сделали из его досок коч и назвали так же, «Святой Петр».

Морских бобров и котов они добывали по многу, песцов били и обдирали не столько ради добычи, сколько спасаясь от них. А как вернулись на Камчатку, случилось, что и на песцовую рухлядь стал спрос, и цена поднялась. Купцы и промышленные люди, узнав, как много зверя на острове, бросились строить суда. Но Емельян Басов, сержант камчатского гарнизона, оказался проворней всех: построил шитик «Капитон» и получил наказ от тамошнего коменданта проверить, что из казенного добра на острове осталось в целости.

Ваш он, тобольский. – Рассказчик обернулся к Сысою с Васькой. – Тоже из пашенных... И ушел он к Кроноцкому мысу с промышленными и двумя матросами-самовидцами со «Святого Петра», как и теперь ходят: дождался погоды и, когда стали видны признаки острова, направился напрямик к нему. На середине пути задуло, с запада поднялись волны. Один из беринговских матросов и говорит, крестясь: «Сон мне был, будто командор встречал нас и ругал, что идем с малым запасом водки». Емельян эти его слова взял себе на ум.

А ветер крепчал, сделался шторм, и понесло шитик прямо на остров. Матросы, промышленные, купцы, казаки давай Богу молиться: видят, если не разобьет о скалы, то унесет мимо острова в открытое море. И в сумерках явился им на скале командор, которого почти все знали в лицо, шляпой стал указывать, куда пристать. Увидев его, одни завопили от страха, другие заорали: «оборотень», а Емельян семижды перекрестился, стал править, куда указал покойный, и проскочил «Капитон» между камней в ту же самую бухту, что и «Святой Петр».

От радости, что спаслись, купцы, казаки и промышленные, радостно помолившись, как водится, выпили по чарке, душа горит по другой, а нельзя – песцы заживо сожрут. Емельян и вовсе был трезв. Флягу за пазуху спрятал, дождался полуночи и пошел ко «Святому Петру», выброшенному волнами на берег. Подошел, видит, корабль почти цел. Замки на пакгаузе проверил, как наказал ему комендант, могилу поискал, не нашел, влез на борт пакетбота, зашел в капитанскую каюту, достал из кармана свечку, засветил, посидел, помолился, флягу на столе оставил и хотел уже вернуться. Вдруг будто кто на ухо шепнул: отпей, мол! Он слегка и приложился к фляге. Тут дунуло сквозным ветерком, свеча погасла. Как на грех, луна зашла за облако. Стал Емельян на ощупь выбираться из каюты. Видит, кто-то с корабельным фонарем лезет по шкафуту.

– Это ты, Емеля? – спрашивает незнакомым голосом.

– Я, – говорит Басов, а сам гадает, кто бы мог быть?

– Что ж ты флягу у товарищей спер? – говорит тот, что с фонарем, а сам в каюту протиснулся, фонарь поставил под стол.

– А пусть она здесь лежит, старому командору душу греет, он любил выпить. Через него мы сегодня живы остались, – отвечал Басов, а сам гадает и удивляется: хоть темно, а понятно, что таких людей в его ватаге нет.

Незнакомец сел на рундук, так что лица его не видать. Глянул Емельян под стол и застучал зубами: на ногах-то чулки и башмаки, в какие по Сибири рядится только латинянская нерусь.

– Не трусь, сержант! – сказал гость и смахнул с головы шляпу. – Хотел со мной выпить?! – Пошарил рукой в шкафчике и поставил две чарки. – Наливай!

Емеля трясущейся рукой командорскую чарку наполнил, себе налил, чтобы глаза прочистить.

– За здоровье ныне здравствующей матушки-государыни! – сказал покойник и водку, как воду, за бритые губы влил.

Выпил и Емельян, рукавом занюхал, подумал, сейчас сгинет видение. А командор явно сидит напротив и на свою загробную долю жалуется:

– Не довольна мной, грешным, государыня. Столько денег потратила на экспедицию, а толку мало. Из-за того здесь, на острове, нет мне покоя, караюлю казенное добро, что на мне числится...

Ночь на островах недолгая. Петухов там нет – нечисть распугать некому. Напоил покойный командор Емельяна Басова допьяна и подсунул ему контракт, по которому сам обязывался гнать зверя на стрелков, хранить их суда в море, а взамен потребовал, чтобы сержант берег оставленное на острове казенное добро и за все бы отвечал жизнью.

Товарищи прождали Емельяна всю ночь, утром пошли искать и нашли мертвецки пьяным в каюте старого пакетбота. В руке его будто была зажата бумага, писанная не по-русски, а под столом валялась изодранная песцами треуголка. В тот год промышленные не раз видели на острове тени покойных немцев, доносили Емеле, а он только отмахивался: пусть, дескать, ходят, от них вреда нет.

Вернулись они в Петропавловскую бухту с богатой добычей, а там народу уже вдвое против прежнего: кто торгует, кто скупает, кто к морским промыслам готовится. Беринговский матрос и плотник Михайла Неводчиков в паях с иркутским купцом Чупровым в устье реки Камчатки спускал на воду шитик «Святая Евдокия». Селенгинский купец Андриян Толстых в паях с иркутским купцом Никифором Трапезниковым строил шитик «Иоан». Емельян продал свой пай и поскорей вернулся на остров стеречь казну по контракту с покойным командором.

На другой год он опять пришел с богатой добычей: бобров полторы тысячи, котов – две, песца – не считано. Снова продал свой пай, оставил шитик «Капитон» и выпросил «Святого Петра», того, что беринговцы сделали на острове из досок пакетбота. На нем, казенном, вер-

нулся, чтобы задобрить покойного командора. На том судне и я первый раз ходил к острову. А у Басова тот вояж был последний. – Старый казак опять обернулся к тоболякам, слушавшим тихо и внимательно. – Таким же, как вы, был тогда!.. – кивнул им. – Пошли мы, с молитвами, вдоль берега, а от Кронуцкого мыса повернули встреч солнца и вскоре увидели белые горы под снегом. Входим в Басовскую бухту, а на песке, что кули, лежат люди без рук, без ног в лохмотьях кафтанов и зипунов. Возле них вороны и песцы за поживу дерутся. Незадолго до нас тела тех несчастных выкинуло на берег волнами. Пока мы их хоронили – до сотни песцов забили палками.

Места там чудные. Кругом одни камни, на скалах у воды – сажень на тридцать над морем, – террасы, набитые плавучим лесом и костями. На сухом месте у басовских промышленных было поставлено зимовье по камчадальски, но покрыто костями, как у анадырских чукчей. Когда там дуют ветра – на ногах не устоять. А песца столько, что по большой нужде в одиночку не ходили: садились спина к спине и отбивались палками, чтобы не оскопили. Добыть зверя там было легко, сохранить трудно. Бобры, бывало, на свет костра выходили. Ударишь палкой по башке, он лапами глаза закроет и помрет. Одного, другого забьешь, тогда только остальные уползут. А если добывали зверя в темноте, вдали от зимовья, и не могли унести, то к рассвету песцы его сжирали. Бывало, если кто добывал бобра ночью, то ложился на тушу, чтобы сохранить до рассвета. Так песцы и под человеком из зверя кишки выгрызали.

Перезимовали мы, август промышленяли, добыли много всего. А Емельян Басов по островам разъезжал, карты рисовал, руды искал, видать, хотел перед старым командором выслужиться, знал, что рано или поздно приплывут без него промышленные люди, замок с пакгауза собьют, казенное добро по нужде заберут. Верой и правдой служил Емельян покойному командору, но немец он и есть немец: ни на слово, ни на букву от контракта не отступился...

Стал передовщик отговариваться, чтобы на Камчатку ему с нами не возвращаться. Но мы собрали сход и приговорили, чтобы плыл: слыханное ли дело – вернуться без передовщика, да еще служилого? Затаскают по сыскам. В то самое время великоустюжский купец Афанасий Бахов с иркутским купцом Жилкиным на устье Анадыря построили бот «Перкун» и пошли на нем к востоку, искать матерую Калифорнию, но попали в шторм. Только мы с острова ушли – их волнами выкинуло неподалеку от нашего зимовья и в щепки разбило о камни. Ватага спаслась и зимовала на острове, когда мы были на Камчатке. А Басов вдруг занемог и говорит: «Видать, кто-то казенное добро расхитил».

Начал он просить у коменданта приказ на охрану склада и пакетбота на Командоровом острове. Но пока тянулась писарская волокита, к лету ему стало еще хуже, а как утихли шторма он и плыть-то на промыслы не смог – отправил на остров ватагу с наказом и остался дома, на Камчатке. Ватажка без него зимовала трудно: двое убились, упав со скал, и бобров в тот год на острове не было. Вернулись промышленные только с песцовыми шкурами и рассказали Басову, что жилкинские люди разобрали командоров пакетбот до самой каюты, из его досок построили бот и уплыли, прихватив кое-что из казенного добра.

Тут Емельян и вовсе слег. Вскоре по всей Камчатке случилось большое землетрясение. Сказывали старики, будто в те дни видели возле Петропавловской бухты старого Беринга. А Емелю Басова нашли дома мертвым с истлевшей бумагой. Писана она была языком чужим и так зажата в руке покойного, что разжать ее не смогли: с ней обмыли, обрядили и в гроб положили.

– Так-то все было! – закончил старый казак, отодвигаясь от костра и укрываясь меховым одеялом.

Люди молчали. Кто-то уже спал, иные думали о сказанном. Поговорив еще, бодрствовавшие положили на угли несколько сухостоин со срубленными сучьями и затихли. В сером небе едва поблескивали тусклые звезды. Один бок грел костер, другой студила стекавшая с гор прохлада. Сысой закрыл глаза, а когда открыл их, то принял тлевшие угли за звезды, повел взгляд в сторону, увидел удалявшиеся ноги в чулках и башмаках. Вздвогнув, приподнялся на

локте, перекрестился. Никого не было. Привиделось. Курилось кострище, светлело небо, близился рассвет.

Утром тоболяки пожевали вареной рыбы, подогретой на углях, напились холодной наваристой ухи и по холодку ушли на седловину. Спускались они по разбитой конной тропе, то каменистой, то вязкой от таявшего снега, залегавшего по тенистым падам. День был ясный. К полудню путники остановились отдохнуть и перекусить возле ручейка, выбегавшего из-под каменистой осыпи. На вид она была пологой и вполне безобидной, но Сысою вспомнились слова инока, он обшарил ее пытливым взглядом, опасности не увидел, но боязливо поежился.

– А ну его, этот ручей! Наберем воды и отдохнем вон там! – указал на зеленевшую лощинку.

– Там болото! На кочках сидеть, что ли? – воспротивился было Васька и рассмеялся: – Монах напугал? Ну ладно! – Зачерпнул воды походным котелком, сунул за кушак брошенный топор.

Сысой вскинул на плечо фузею. Они еще не дошли до места, которое он высмотрел, за спиной ухнуло. Оглянулись. Часть склона обвалилась и бугром вздыбилась на месте бывшего ручейка.

– Спаси и помилуй! – перекрестились тоболяки, добрым словом вспомнив Германа.

К вечеру они догнали обоз. Он не успел уйти далеко. Конь таракановской чуницы по самую холку увяз в болоте. Его уже разгрузили и пытались вытащить, подводя жерди под брюхо. Стучали топоры, ругался Агеев, которого загнали по пояс в болотную жижу. Куськин с Таракановым таскали и стелили гать. А неподалеку по сочной траве бродили мохнатые, как медведи, якутские кони, горели костры, дрались ссыльные мужики и визжали их жены. Обоз затаборился на ночлег.

– ...Р-р-разом! Взяли! Таракан, лагу подводи!.. Еще раз! Не идет, зараза!

Увязшая в болоте лошадка прядала ушами, шевелила ноздрями, но не дергалась, чтобы высвободиться из трясины. Не успев отдохнуть, Сысой с Васькой принялись за обычное дело и вскоре были в такой же грязи и поту, как их связчики, хлестали себя по щекам, спасаясь от мошки.

На дальнейшем пути тропы и вовсе не было. Река привольно гуляла по равнине, заросшей топольником в обхват и папоротником в рост человека, оставляя по берегам просторные отмели, острова из крупного и мелкого окатыша. На нем лежали завалы вынесенного с верховой плавника. За два-три дня хода по таким камням новые сапоги становились старыми, кони в кровь сбивали копыта.

Казак Попов, ехавший верхом впереди обоза, закрутил лошадку на месте, склонился к земле и поднял подкову. С радостным видом обернулся к обозным, показал находку, сунул ее в седельную сумку. В тот же вечер он чертыхался, обнаружив, что его лошадь потеряла две подковы, и жаловался:

– Редко какой конь приходит в Охотск со сбитыми, но здоровыми копытами.

С помощью тоболяков казак накрепко привязал свою лошадку к деревьям и перековал. Для Сысои с Василием такое дело было знакомым и обыденным, в слободе ковали коней сами.

Выпущенный на выпас табун вел себя беспокойно. Вместо того, чтобы щипать траву, голодные кони настороженно задирали головы, ржали, рыли землю сбитыми копытами. Ветерок доносил из леса запах медведя, трава пахла лисами. Рыжие и длиннохвостые, они безбоязненно подходили к кострам, высматривая, чем поживиться. В них бросали камни, они отскакивали, но не убегали.

Ночью, до половины ссыльных и контрактных мужчин не спали, отгоняя от табуна медведей. Утром десятник решил вести обоз лесом, долго выискивал прошлогоднюю дорогу, но так и не нашел ее.

– Смело! – пожаловался и направил коня в высокий и густой папоротник.

Снова смрадно запахло лисами. Защищенная от ветра мошка со всей яростью накинута на людей, лошадей и оленей. В духоте густого леса путь приходилось расчищать топорами. Намучавшись больше прежнего, задолго до полудня Попов опять вывел обоз к реке, на камни и завалы плавника.

Наконец стали встречаться селения с учрежденными станциями. Вскоре в полдень прошли мимо небольшой безлюдной деревни, местами появлялась прорубленная дорога или конная тропа, густо присыпанная старыми конскими и медвежьими катыхами. Краснел шиповник, вызревала жимолость. Вода в реке пахла рыбой. На песке встречались следы волков и лис, которые в других местах вместе не живут. Позже появились разжиревшие местные собаки. Они лежали у песчаных перекатов с выбросившейся заморной горбушей. Саму рыбу уже не ели – не спеша отгрызали только головы. Ярче и острее стал дневной свет, посвежел воздух. Поспешно, неуклюже и часто махая крыльями, навстречу обозу летела ворона. Вокруг нее легко носились две чайки, почти по-человечьи резко вскрикивали: «Уйди! Уйди отсюда!» И наконец открылось море.

Заворачиваясь белой трубой, на гладкий береговой склон набегала волна прибой. Напряженно выглядывая линию, где соединяются небо и море, на окатыше бесшумно и неподвижно сидели чайки. По мокрой полосе песка, на которую накатывалась волна, деловито бегали трясогузки, выщипывая выброшенный морем корм. Гнус пропал, не было даже мух. Дышалось легко и привольно.

– Дошли, слава богу! – скинул шапку и перекрестился на далекий купол церкви десятник Попов. За ним стали креститься другие казаки. Набегавшей волной слетели шапки с голов обозных мужчин.

Между морем и рекой на несколько верст тянулась дамба из намытого камня, по местному она называлась кошкой. По ней от самого леса тянулись, срубленные в одну линию улицами добротные дома с огородами, казармы, склады, заведения.

– Это и есть город? – удивленно спросил Попова Сысой.

– Охотск! – с радостью в лице ответил казак. – Недавно царским указом прислали герб. – Спohватившись, добавил: – Немного обветшал: кошку прорвало возле «икспидичной» слободы. С реки кошку подмывает, с моря – намывает. При мне три улицы снесло, но правление вашей Компании много строит. Прошлый год были два кабака на откупе, трактир и питейный подвал в «икспидичной» слободе, теперь, может быть, больше. Везут и везут товар, хоть путь сам видел какой...

Встречать обоз вышли казаки, служилые морского ведомства, чиновные, отставные, купцы, промышленные, ссыльные поселенцы, другой разночинный люд. Увидев среди прибывших бредущих женщин: оборванных, пропыленных, изъеденных гнусом, здешние люди заволновались:

– Откуда, красавицы? – участливо спрашивали. – Откуда, милые? Неужели к нам?

У каторжанок просветлели обожженные солнцем лица, засверкали глаза. Среди встречавших невзрачно смотрелись полдесятка чернявых баб с мешаной сибирской кровью да столько же черноглазых инородок с прутьями, продетыми в ноздри наподобие солдатских усов. Это были эскимоски, вывезенные промышленными людьми из-за моря.

Тридцать семейных пар каторжан, царской милостью выдворяемых на поселение вместо рудников, шли с обозом от самого Иркутска. По слухам, перед высылкой вдовых мужчин выстроили против стольких же вдов и девок, и обвенчали, невзирая на рост и возраст. Добрая половина этих женщин была осуждена за убийство мужей, другая за воровство и убийство тайнорожденных детей. Всю дорогу ссыльные грызлись между собой, дрались, призывая казаков и работных судьями в свои семейные дразги, надоели всем так, что обозные контрактные и служилые смотрели на них, как на казенный скот, который нужно доставить к месту в целости

и сдать по реестру. И вдруг эти самые каторжанки обрели толпы восторженных поклонников, толкавшихся, чтобы коснуться их руки или рукава, заглянуть в глаза, перекинуться словом.

Сысой, глядя на морской берег, тряхнул отросшими волосами, глубоко втянул в себя запах морских трав, выброшенных прибоем, и всем телом ощутил, что с неба льется ясный свет, а ветер приятно студит изъеденное гнусом лицо. И почудилось ему, будто все это он уже когда-то видел. Вспомнился дядька Семен с его рассказами об Охотском остроге, Камчатке, островах. Сысой еще раз перекрестился на далекую церковь. Звуки города и толпы показались ему чистыми, как песня, и снова почудилось, что настоящая новая жизнь только начинается, а прежде был всего лишь путь к ней.

В сопровождении толпы обоз въехал во двор компанейской казармы со складами, рядом располагалось правление.

Затем была сумеречная и сырая приморская ночь, лунная и обманная, готовая каждый час поменять свой покой на неистовство бури. С алевшими щеками и непросохшей после бани головой Сысой шел по прямой улице к крепости, хранившей название командоровой, или иксипидичной слободы. Зипун был накинута на плечи поверх чистой рубахи, от него прогоркло воняло потом и кострами. Вспоминались рассказы, слышанные не только от дядьки, но и те, к которым он жадно прислушивался по ямам и станциям чуть не от самого Тобольска. И снова при свете мерцающей луны над колышущимся морем он ощутил дух города, накопленный со времен первопроходцев якутского казака Семена Шелковникова. Наперекор лютым ветрам над церковью темнел восьмиконечный крест, благословлявший многие дерзкие начинания. Почерневшие дома отбрасывали мутные тени на пустынные улицы, по которым ходил сродник Семен, бродили остатки многих вояжей и экспедиций.

Где-то завyla собака, и сотни глоток собратьев дружно ответили ей протяжным хором: нежалобным и незлым. Сысой с удивлением отметил, что не слышал здесь лая – только вой. Полная луна выше и выше поднималась над блещущей водой. Прелый дух тайги и тухлой рыбы струился по улочке. Где-то рядом устало и сонно набегала на берег волна. Сысой повернул ей навстречу в первый попавшийся переулочек, спустился к морю, и лунная дорожка выправила курс к его стоптанным бродням.

Где-то рядом отрывисто звенело лезвие топора от ударов обушка по дереву. Сысой обернулся и разглядел толстого длиннорядого мужика, вбивавшего кол, по краю пеннистого прибоа, цеплявшего его ноги. Человек тоже заметил прохожего, скомандовал сильным голосом:

– Стой!

Сысой остановился, нашарив рукоять ножа за голяшкой. Мужик бросил топор, приблизился, обдав запахом водки и рыбы, сунул Сысою спутанный ком пеньковой веревки.

– Пособи! – приказал. – Одному мерить не с руки. – И поволок за собой конец, забредая в волну по колени, долго плескался там, что-то нащупывая пятками, наконец натужно просипел:

– Тяни!

Сысой выбрал веревку так, что ее линия обозначилась на блещущей лунной дорожке.

– А теперь приложи к колу и держи! – Мужик стал выходить из воды, наматывая ее на локоть. – Семь саженой ровно! – пробормотал, отбирая сухой конец. – И отсель до кабака саженой сорок... Ты не штурман? – спросил строго.

– Нет, промышленный!

– Тогда ладно! – подобрев, бросил на землю мокрую веревку. – Штурманам хоть кол на голове теши, не хотят делать поправку к счислениям, только руль наращивают... А старый трактир там был, – указал пальцем в море.

Сысой разглядел, что мужик старый, но не дряхлый, с косматыми бровями, толстым носом и бородой до хлюпающего под мокрой рубахой брюха.

– Давно в Охотске? – спросил, сев на землю, силясь скинуть сапог.

– Первый день!

– То-то, смотрю, глазами лупаешь – меня здесь всякая собака знает... Выпить чего есть?

– Нет! – развел руками Сысой.

– Ну и ладно, – миролюбиво пробормотал старик. – В меня сколь ни лей – все мало. – Пыхтя, сбросил сапог и вылил из него воду. – Видишь?! – указал голяшкой. – Вроде желтое пятно на воде?

– Может, и пятно! – пожал плечами Сысой.

– Прежний кабак там был, с него все пути начинались, да смыло его. Я в том кабаке с капитаном Берингом и лейтенантом Чириковым раку пил. Ученые штурмана тогда говорили: в навигационном искусстве самое главное – правильное счисление. Но даже они в море плутали. А наши неучи выйдут к Кроноцкому или Шипунскому мысу, возьмут курс – две ладони от восхода и никаких поправок, будто уже нынешний кабак не стоит в сорока семи саженях от прежнего. – Мужик отшвырнул мокрый сапог и принялся за другой. Удивляясь его речам, Сысой осторожно спросил:

– Сколько ж тебе годков, дедушка?

– Я не адъюнк-профессор, чтобы годы считать, – огрызнулся он. В его брюхе хлюпнуло, босая пятка раз и другой соскользнула с обутой ноги.

– Давай помогу? – нагнулся Сысой и сдернул сапог.

– Спасибо, паря, угодил! – пробормотал старик, отдуваясь и добрея.

Из тьмы неторопливо вышла собака с опущенной головой и висячим хвостом, поводила носом то на него, то на Сысою. Промышленный достал из кармана сухарь, отломил кусок, бросил. Собака обнюхала его, равнодушно зевнула, разинув пасть едва не до самых ушей, и побрела в обратную сторону.

– Чириковские, как вернулись в Охотск, так в старом кабаке все плакались: пятнадцать человек на краю света бросили, одиннадцать похоронили. Штурмана на обратном пути перемерли, один ученик – Елагин, вернулся живой. А после беринговские приплыли при пушном богатстве и загуляли, друзей поминая. Немцы, как напьются, орут, друг друга по башкам картами лупят, спорят, где была ошибка в счислении. А после сговорились, что поправок не делали, – опять про свое залопотал чудной старик. – Так вот все было! – просипел с важным видом. – В тот год в Охотский купцов набрело, как собак к зиме. Им зависть великая, за каждый лоскут меха цеплялись, торг заводили, иные плакали: хуже собак по снегам и болотам таскали товары туда-сюда, а богатства не нажили, как самый ленивый беринговский матрос.

Водка лилась рекой, нечисть, как водится, слетелась со всего света и машкератом правила: на столах плясала, срамными местами над чарками трясла, кости метала, спорила на грешные души. – Утробно рассмеявшись, старик закашлял. Ходуном заходило, захлопало брюхо под мокрой рубахой. – День пили, два пили, три... Иные все с себя пропили, последним лоскутом стыд прикрывали. Проворные московские купцы некоторых спасшихся еще на Камчатке перехватили: вошли в сотоварищество с сержантом Емелей Басовым и ушли на промысел. Им выпала доля удачливая. Иркутские спохватились, когда немцы и наши уже пропились и маялись похмельем с лицами печальными. Яшка Чупров, московских барышников понося, подсел со штофом к адъюнкту Штеллеру: «Слыхал я, – говорил ему, – грамотен ты, и с излишком, так скажи, кто из этих пьяниц может судно построить и к вашим островам увести?»

Адъюнкт чарку выпил, подобрел, через стол перстом ткнул: «Тому дай топор в руки – и крепость, и корабль построит, тот – ветер чует, искусно парусом правит, а этот вот, – указал на Михайлу Неводчикова, – корабль построит, куда хочешь приведет, черта лысого поймает, подкует и хвост ему топором обреет».

А нечисть как завопит, как заскачет от обиды на слова поносные, лавки затряслись, кабак ходуном заходил. Рогатый вскочил на стол, по-песью задрал ногу, брызнул адъюнкту в кружку. Адъюнкт глотнул зелья и чуть не подавился. Выволокли его на берег, едва отлили, все одно через три года в Тюмени помер.

А иркутский купец Яшка Чупров с тем же штофом к Михайле Неводчикову подсел: так, мол, и так, артель деньги соберет, ты нами располагай, строй судно и веди к острову, где зимовали. А Михайла ему: «Корабль построю, но поведу к другому острову, который видел за морем. Их там, встреч солнца, много».

Яшка сулил ему задаток, кафтан бархатный, сапоги козловые, но Михайла только головой мотал да икал. Яшка налил ему царской из своего штофа, Михайла бороду перекрестил, носильный крест за щеку сунул – и выплеснулось зелье из рук. «Видишь! – говорит. – Знак мне. Больше пить не стану и от слова своего не отступлюсь!»

Стали иркутские купцы других матросов уговаривать плыть к острову, где зимовали, а они крест целовали: если выберутся в Охотск живыми, больше сапог своих в морской воде не намочат. Делать нечего, ударил иркутский купец по рукам с Михайлай.

Там же, сидя в углу, селенгинский купец Андриян Толстых смотрел на гуляк и посмеивался над людской алчностью. Он свой товар продал, мех закупил, был всем доволен и собирався возвращаться в Якутский город. Видать, от его насмешек нечисти стало тошно, подскочил к нему рогатый, наплевал в глаза и, пока селенгинский купец слезы вытирал, думая, будто от табачного дыма, вылез из-под лавки оборванец с выпарканной бородой, назвался гарсоном Беринга, сказал, будто у него на руках командор помер и карту ему оставил. Вынул ее гарсон из-за пазухи, предложил купцу за штоф. Думал Андриян, что взял карту командора, где вычерчена Дегамова земля, а принял долю. Еще и поделился по доброте своей с иркутским купцом Никифором Трапезниковым...

Поднялась луна над морем. Где-то протяжно выли собаки, недалеко от берега фыркали нерпы. Старик сдернул с ног штаны, выжал их, надел сырыми и поежился на ветру.

– Однако надо выпить! – проворчал. – Сходи к своему приказчику да попроси в долг. Где ж это видано, после бани не выпить?! А я тебе далее расскажу, кто как свою долю оправдал...

Сысой и сам озяб, слушая старика. Удивляясь встрече, речам и рассказам, пошел на компанейский двор. Водки Бакадоров не дал, но налил в березовую фляжку остывшего сбитня. Когда Сысой вернулся на берег – не было на месте чудного старика. Он перекрестился и подумал: «Видать, водяной баловал!» Постоял, вглядываясь, где вода желтей, ничего не увидел и пошел в казарму, раздумывая, как все рассказать дружку Ваське Васильеву.

Уговорами и угрозами приказчики заставили работных привести в порядок доставленный груз, сложить где надо, только потом выдали жалованье. И загуляли обозные, бросив привычные дела. А охотские служащие взбунтовались: толпа холостых мужчин ринулась в командорову слободу к обветшавшей крепости, перелезла через упавший заплот, окружила комендантский дом и канцелярию порта, требуя его превосходительства. Полковник Козлов, известный взяточник и казнокрад, изрядно напугавшись, обвешался пистоллями, велел охране занять круговую оборону, но вскоре заметил, что добрая половина осаждавших обливается слезами.

– Где правда? – кричали молодые. – Иркутяне зажрались, красавиц за девок и баб не считают, шлют за море... А у нас на двадцать холостых – один женатый... На Камчатке того хуже: муж на жену боится косо посмотреть, каждую по тридцать одиноких к себе манят...

Те, что постарше, делово предлагали полковнику тут же отписать прошение царице, чтобы преступных баб и девок на каторге не гноить, а им бы, бедным, в жены посылать. Уж они тут сами позаботятся об их нраве и благочестии.

Полковник заверил собравшихся, что прошение на Высочайшее имя отправит. Служилые разошлись. По городу, в окружении почитателей, прогуливались принаряженные каторжанки, шаловливо поглядывали на встречаемых с таким видом, будто делали им великое одолжение, между тем были ласковы и веселы, находясь в прекрасном расположении духа.

Сысою с Васькой общество каторжных надоело еще в пути. Отстояв обедню в церкви, они шлялись по городу, разглядывая его строения. К ним примкнул одинокий Тимофей Тараканов.

Сквозь тучи скупо светило солнце, шумел прибой, кричали чайки, срываясь с речных отмелей большими стаями. На устье Охоты, против экспедиционной слободы, был порт. Здесь стояли купеческие и казенные суда, по большей части галиоты или, по-старому, кочи и кочмары с низкими, толстыми мачтами, высокими бортами. Среди них выделялось иностранное судно с высокими мачтами и парусами в четыре яруса.

Покачивались мачты, по причалу лениво слонялись служащие морского ведомства. Трое друзей подошли ближе к фрегату. Иностранцев на нем не было, пушечные люки нижней палубы были наглухо заделаны и засмолены, корабль оказался переделанным в транспортное судно с шестью пушками на верхней палубе. Вдыхая пьянящий дух смоленых досок, пеньки и парусины, Сысой прочитал вслух золоченую надпись на борту: «ФИНИСТ».

– Не «ФИНИСТ», а «ФИНИКС», – насмешливо обронил проходивший матрос в казачьих штанах и в лихо заломленной шапке.

Сысой, указывая на буквы пальцем, еще раз вычитал по слогам название судна:

– И правда «ФИНИКС», – удивился своей ошибке, – а что это? – с добродушным удивлением спросил у того же матроса, остановившегося и с любопытством разглядывавшего молодцов компанейского обоза. В это время Тимофей Тараканов стоял в другой стороне, против высокой кормы и разглядывал надстройку.

– Сказывают, птица такая есть за морем, яиц не кладет, как другие, а состарится, обложит себя хвостом и спалит...

– Дура, что ли? – простодушно удивились тоболяки.

– Кто ее знает? – достал трубку матрос. – Может, дура, а может, ей от Бога так отпущено: птица заморская, не наша.

Бывший фрегат поскрипывал кранцами, блестела надраенная палуба.

– Таракан! – окликнул товарища Сысой. – Знаешь, что такое «Финикс»?

Тимофей неспешно подошел, взглянул на название судна.

– Читал! – ответил равнодушно. – Нашими литерами на латинский лад так называется птица феникс. – Помолчав, добавил: – Про нее пишут, будто, когда начинает стариться, сжигает себя, но в огне и углях остается опарыш, из которого рождается та же, но молодая птица. И так вечно!.. Старая сказка! – Снисходительно усмехнулся. – Нынче модная у иркутских мещан.

– Обозные? – спросил скучавший матрос. Трое закивали. – Здесь останетесь или отправят дальше?

– На Кадьяк, в шелиховскую артель, зверя промышлять.

– Попутчики, – улыбнулся матрос. – И «Финиксу» и «Трем святителям», – указал на галиот, причаленный к другому борту, – предписано идти за море. Правда, штурмана на это не согласны – всего неделю назад вернулись с Кадьяка, хотя зимовать в Охотске, при откупных кабаках.

На четвертый день по прибытию в Охотск компанейского обоза не ко времени зазвонил церковный колокол. Чернявый, похожий на ламута священник, в вышарканной ризе, шел впереди крестного хода встречать другой обоз. На въезде в город были выстроены гарнизонные солдаты с ружьями, при них – полковник Козлов, надворный советник Рейникин, коллежский асессор Кох – предместник нынешнего коменданта. Все были в мундирах, при шпагах и орденках. Прибывала и толпа. На этот раз, кажется, весь Охотск бросил дела и вышел встречать гостей.

Сысой с Васькой потолклись в толпе, издали увидели знакомых монахов, пошли к компанейскому двору, но по пути свернули в пустующий трактир поесть печеных уток, которые в это время были дешевы. Ни ларешного, ни полового в трактире не оказалось. За скобленным столом в углу сидели четверо, по виду – мореходы, и вели между собой разговор с тихим, добродушным спором. Среди них Сысой узнал старика, с которым разговаривал ночью. На этот раз он был угрюм, будто чем-то обижен, залпом выпивал налитое и ждал следующей чарки.

Против него, спинами к тоболякам сидели двое: один лысый, с седой бородой и красным носом в рытвинах, другой с чисто выбритым лицом и густой проседью в длинных рыжеватых волосах, стянутых в пучок на затылке. При них был чернявый креол с оттопыренными ушами. Креолами в Охотске называли всех полукровок, родившихся в колониальных владениях и записанных мещанами России. Они были освобождены от податей и повинностей, пока жили в колониях.

Один только креол и обернулся к вошедшим:

– Что хотели, тоболячки? – спросил, скалясь и смеживая пухлые веки в узкие щелки.

Сысой с Василием перекрестились на образа в углу и ответили, думая, что это половой или приварок.

– Чая нам и утятинь!

Старики тоже обернулись и с любопытством уставились на них.

– Все ушли встречать попов! – рассмеялся вертлявый креол. – Говорят, целый монастырь прибыл! Что найдете в поварне, то и берите, – по-свойски кивнул им.

Тоболяки взяли остывших, вчера еще печенных гусей, сели в стороне. Тот, у которого щеки были выбриты, посматривал на сотрапезников с таким видом, будто о чем-то знал больше их, и, гоня желваки по впалым щекам, продолжил в чем-то упрекать лысого:

– То я Андрияна Толстых не знал или на «Иоане» не ходил?! Еще поболее твоего, пожалуй, ходил. – И, повернувшись к «водяному», добавил: – Все старовояжные знают, что нужно было Андрияну. Бывало, в грудь себя колотил, говорил: мне через стихию суждена великая слава! А как кто возвращался, открыв новые острова, плакал: опять обманула судьба-лихондейка! А обманула его карта Беринга, которую Штеллер продал Никифору Трапезникову и божился, что сам видел Дегамову землю. Берингу же, по слухам, ту карту вручила сама царица, а ей всучил какой-то латинянский проходимец...

– Так, да не совсем! – ухмыльнулся лысый. Он был уже в веселом расположении духа. – Слушайте Митьку Бочарова. В этой старой лысой башке много чего, – постучал себя кулаком по лбу. – Беринг помер, Чирикова в Петербург вызвали, команды «Петра» и «Павла» прожились, а жалованье давать перестали – служи, где хошь. Вот и кинулись кто к Неводчикову с Чупровым, кто к Басову, кто к Андрияну Толстых. А француз Штеллер выучился ругаться порусски лучше всякого казака, на каждом углу поносил покойного Беринга и его штурманов за то, что видели признаки земли на широте сорок шесть градусов шестнадцать минут, а духа не хватило, чтобы держать курс и повернули к востоку...

– А я чего говорил? – сердито уставился на лысого бритый. – Трапезников вернулся из басовского вояжа, свой пай передал приказчику, пересел на «Иоана» и снова ушел к Беринговому острову. Пришли – куда что делось? Песцов – и тех стало мало. Тут-то и вспомнили адьюнкт-профессора...

Лысый опять ухмыльнулся:

– Герасим как станет сказывать, будто отчет коменданту пишет... А то, что Никифор в Большерецкой канцелярии выпросил шесть казаков себе на борт, забыл? И Толстых, и Трапезников знали, куда надо идти. Оба собирались открывать новые земли. Но сперва решили набить зверя в известных местах, потому и пошли к Берингову острову. Так-то было! А пришли – пусто. На Медном и Ближних островах побывали – нет зверя. Думали, ладно, подождем, весной появится. Перезимовали – ни бобры, ни коты не приплыли. Тут-то и стали говорить, что у Басова с покойным командором был тайный контракт. И сами захотели так же. Стали думать, кого послать к покойному и как. Трапезников отговорился на сходе: дескать, со мной, барышником, служилый командор разговаривать не станет, морехода надо посылать! Андриян Толстых – ни в какую... Послали казака Гаврилу Пушкарева, который служил у покойного на «Петре». Достали последнюю флягу с водкой, напоили для храбрости, привели под руки в каюту пакетбота, закрыли, чтобы песцы не загрызли. Возвращался Гаврила утром, лыка не

вязал, над ним кружила стая чаек и каждая метила попасть пометом в шапку. Пришел Гаврила белым от птичьего дерьма и кричал во всю глотку: «Юго-восток, два румба к востоку!»

Сысой с Васькой, услышав знакомые имена, насторожились, а после и вовсе устали наговоривших, забыв о печеном гусе. Их любопытство приметил креол и, едва старики умолкли, вскочил из-за стола.

– Знаете ли, с кем сидите, казаре?¹ Это самые знаменитые мореходы: Дмитрий Иванович Бочаров и Герасим Григорьевич Измайлов, – указал сперва на лысого, потом на рыжего. – А это, – кивнул на «водяного», уже клевавшего носом по столу, – известный подштурман Филипп Мухоплев. Ну и я, Афоня, штурманский ученик, помощник капитана с «Финикса».

Видя, что названные имена не произвели впечатления на молодых, Афоня и вовсе забегал возле их стола:

– Это те самые штурмана, что через тридцать пять лет после Чирикова и Беринга дошли до поднебесных гор Аляксы!

Сысой, с гусиной костью в руке, вытаращил глаза на старых мореходов, будто перед ним были не люди, а знакомые по сказкам горы на самом краю белого света. Пока он соображал, что сказать и что спросить, в трактир ворвалась толпа промышленных, служилых и работных людей. Знакомые обступили мореходов, зашумели, окликая поварню. Тоболяки же, с недоеденным гусем, стали пробираться к выходу.

Трехмачтовый фрегат «Финикс» и галиот «Три Святителя» грузились под началом компанейских приказчиков и готовились к плаванию. Кроме обычного груза на борт был втянут упирившийся и трубно ревевший бык, за ним загнаны пять коров. Матросы и пассажиры таскали сено в тюках, а капитаны судов скрывались и пьянствовали, недовольные тем, что, не успев вернуться, получили приказ идти на Кадьяк. Покровитель шелиховской компании коллежский асессор Иван Кох, приказал казакам с почетом привести их в крепость и запереть. К отправлению судов оба морехода были отпущены трезвыми и злыми.

Тринадцатого августа миссия монахов отслужила молебен на палубах судов. Едва черные попы ушли в кают-компанию «Финикса», мореходы Измайлов и Бочаров заметили движение воды к приливу и, переговорив через борт, решили выводить суда буксиром, с завозом якорей. Бочаров, длинный и тощий, расхаживал по юту, отдавал команды, понося нерадивых. Нос его был сер, как мерзлая картофелина, длинная борода моталась на ветру.

Сысой и Васька оказались пассажирами на «Финиксе» и работали на баке, по команде вращая шпиль. Рядом с ними стонали и чертыхались матросы и такие же, как они, работные люди. Из ста двадцати пассажиров на борту судна шестьдесят два были старовояжными, возобновившими контракт и возвращавшимися к месту прежней службы.

Первым на морской рейд вышел галиот и бросил якорь, покачиваясь на пологой волне. Бочаров, оглядываясь на берег, покрикивал все громче и злей. Увидев, что следовавшее в полуверсте за ним судно село на мель, и вовсе стал орать на шлюпочные команды. Когда наконец вышли в море, люди, работавшие у шпиля, попадали от усталости. Он же сказал, крестясь:

– Успели, слава богу! Ну а тем, что остались на Охотской банке, остается только молиться, чтобы не заштормило. Река меняется каждый год и становится мельче.

Через час сотню пассажиров, толпящихся на палубе, разморило зыбью. Когда все расползлись по трюмам и кубрикам, Бочаров подобрел, расправляя на груди седую бороду, велел спустить пушки вниз и поднять все паруса. Сила небесная подхватила судно и, покачивая, понесла на восток, туда, где в тумане сливались вода и небо. На борту пахло смолой, ветер с берега доносил запахи морских трав, выброшенных прибоем.

Иеромонах Ювеналий поднялся на палубу, побродил вдоль бортов, помог матросам на баке уложить канаты. Откуда-то выполз Васька Васильев, потерявший друга в суете выхода,

¹ Местное прозвище молодых, неопытных новичков.

схватил Сысой за рукав. Крепчал ветер, «Финикс» все сильнее качало. Иеромонах, проходя мимо тоболяков, потрепал их по затылкам:

– Как настроение, разбойнички?

– Спасибо, батюшка, хорошо! – без поклонов отвечали молодые промышленные.

Струйка воды выплеснулась из шпигата, потекла возле сапог. Румяное лицо монаха посерело:

– А меня поташнивает, – пожаловался и спустился в кубрик.

Капитан Бочаров, бормоча под нос старую казачью песню про Камчатку, вышагивал от борта к борту. Ветер заворачивал за плечо и трепал его седую бороду. Двое дюжих матросов держали штурвал.

– Эй! – крикнул капитан. Сысой с Васькой подняли головы. – Вы, казаре, трава зеленая...

Иди ко мне!

Тоболяки подошли.

– Сила есть? – спросил их Бочаров.

– Не обижены! – повел широкими плечами Васька и шмыгнул носом.

– Тогда становись! – указал на штурвал. И к матросам: – Зарифьте грот и фок!

«Финикс» то и дело менял галсы, матросы подолгу не спускались с мачт, ежась на ветру.

Наконец курс выровнялся, они скатились вниз по тросам и были отпущены греться. На палубу выскочил пассажир с зеленым лицом и с воплем изверг за борт обед.

Поглядывая, как тоболяки справляются с работой, Бочаров погрозил баковым и ютовым, обругал кого-то и снова обернулся к ним.

– Косые паруса видишь? – указал пальцем.

– Угу!

– Смотри! – Сам взялся за штурвал, навалился, паруса заполоскали. – Теперь на другой борт!.. Поняли? Держите так, чтобы были натянуты, а я в каюту спущусь.

Вернулся он через четверть часа, когда у Васьки с Сысоем от напряжения ломило руки. Теперь поверх полукафтана на нем была длинная кожаная рубаха – камлея. Борода сивым комом выпирала из-под ворота. Следом за ним, уже похохатывая, пришли подвыпившие матросы, немногие из старовойжных пассажиров и помощник-креол.

– Продрогли, казаре? На-ко, погрейся! – протянул тоболякам флягу.

– В пятницу грех! – зябко ежась на ветру, замотал головой Сысой.

– А ты скромным не закусывай! – Посмеиваясь, один из матросов протянул ему сухарь. –

Водка, она – постная!

Сысой удивленно уставился на него, потом на сухарь. Раньше ему это в голову не приходило. Он перекрестился и сделал несколько глотков. За ним приложился к фляге и Васька.

– Так-то! – потрепал его по плечу капитан. – Здесь тебе не деревня: того нельзя, этого не положено... За морем змею будешь есть и нахваливать!

– Змею – не буду! – скривился Сысой.

– Правильно! Там их нет! – захохотали моряки, подмигивая друг другу: не таких разборчивых видели – кто не помер, тот пообтерся, бывает и морским паукам рад.

На следующий день бодрыми и здоровыми чувствовали себя только старовойжные промышленные, и то не все. Новички-казаре лежали в лежку и ничего не ели. Потом, в большинстве, они привыкли к качке, стали есть и выходить на верхнюю палубу. А вот дородный отец Ювеналий осунулся, побледнел, лежал возле трапа, не принимая еды. Архимандрит Иосаф тоже не поднимался. А их худосочный брат иеромонах Стефан, напротив, очень быстро прикачался, оказывал помощь немощным монахам и пассажирам, с другими миссионерами исправно вел службы на антимиинсе. Сквозь ветровые люки голоса поющих в кают-компани доносились до капитанского мостика. Старый Бочаров сопел с недовольным видом. Слышны

они были в кубрике и каюте. Ювеналий, не поднимаясь, подпевал слабым голосом, из глаз его текли слезы, капали на подложенную под голову мантию.

Сысой быстро привык к качке и был весел. Простучав сапогами по трапу, спустился в каюту, скинул шапку, перекрестился на образа, передал болезному архимандриту просьбу приказчика Бакадорова:

– Говорит, помирает, просит исповедать и причастить!

Потом склонился над иеромонахом.

– Чем помочь, батюшка?

– Вот ведь, как нечисть искушает, – всхлипнул Ювеналий. – Перед глазами куриная ножка под соусом.

Сысой достал юколу:

– Погрызи, вдруг полегчает? – протянул.

От высушенного рыбьего филе так пахло тухлым, что миссионер задержался всем телом, из раскрытого рта потянулась тягучая слюна. Желая хоть как-то развеселить несчастного, Сысой пошутил:

– Давай поборемся, батюшка?

Встретив тоболяков в Охотске и припомнив их нелепую первую встречу на болоте, Ювеналий предложил в смех:

– Давайте поборемся! – Схватил ручищами за кушаки одного, другого и приподнял обоих над землей, чтобы не гордились легкой победой, не думали о телесной слабости преподобного. Теперь на шутку промышленного монах вымученно улыбнулся, вздохнул и отвел запавшие глаза.

На третьи сутки морского похода крепкий ветер поднял такую волну, что прежняя болтанка показалась шалостью. На судне убрали все паруса и под одной бизанью легли в дрейф, закрепив руль с подветренной стороны и, помолившись, отдались на милость Божью, на волю волн и ветра. Большинство пассажиров и кое-кто из необученной команды просто лежали. У кого хватало сил быть наверху, с ужасом глядели на разбушевавшееся море. Каждая волна, высотой с гору, клочкотала пеной на гребне и казалась последней, губительной. Со скрипом и скрежетом «Финикс» как-то взбирался на нее, под бортом обнажалась бездна. Жалкий корабль камнем летел вниз, зарывался в буруны и чудом не шел ко дну.

От сильной качки в трюме трубно ревели бык и полдюжата коров. Матросы из казаков и промышленных зароптали, что буря сделалась из-за них, пошли требовать от Бакадорова и Чертовицина, чтобы скотину спихнуть за борт, но, сколько ни трясли, ни тормозили их, приказчик и староста только мотали головами, лежа вниз лицами.

Наконец, буря стихла и сделался попутный ветер. По морю добродушно катилась мерная зыбь, сквозь низкие тучи тускло розовело солнце. «Финикс» распустил все паруса и, время от времени зарываясь носом в волну, двинулся на восток. Белела соляными пятнами вылизанная волнами палуба, суетились матросы, перевязывая расшатавшиеся грузы, звенели пила и топор – это корабельный плотник ремонтировал побитую надстройку.

В полдень матрос закричал с мачты, что видит землю. В сумерках судно подошло к острову со скалистыми крутыми берегами. Птицы с криками носились над мачтами, неподалеку, шумно выдыхая воздух, резвились киты. Больные пассажиры с изможденными лицами выползли на палубу. Отойдя от острова, судно легло в дрейф. Бочаров с пышной расчесанной бородой долго высматривал мыс, оглянувшись, поманил Сысою.

– Посмотри-ка, у тебя глаза молодые, – дыхнув свежей водкой, протянул подзорную трубу. – Не видно ли креста?

Сысой, прильнув глазом к окуляру, долго рассматривал далекую землю.

– Нет, не видно!

– Упал или пропал... Не к добру, – удивляя молодого промышленного добрым расположением духа, вздохнул капитан. – Три года назад еще стоял крест из заморного камфарного дерева. И сколько старики помнят, всегда там был. Я еще служил в Большерецком матросом. – Он присел на бухту троса. – В то время на Курилах японцы вырезали нашу артель, а один казак на байдаре ушел в штормовое море и чудом спасся. Выкинуло его сюда, к старому кресту. И в тот же день проходил мимо бот иркутского купца Никифора Трапезникова. С судна увидели казака, высадились, насили оторвали его от креста. А после, когда накормили, напоили, спасенный рассказал, что выплыл, вышел на берег, припал ко кресту, и вдруг засиял он, явилась птица чудная и человеческим голосом запела о погибели всех, за море уходящих.

Обошли они Лопатку, думали уже, что добрались до Большерецка, как сделалась буря. Одни кричали – на берег надо выброситься, другие – держаться в виду суши. А спасенный проснулся, глаза протер и говорит таким голосом, что у Трапезникова волос на спине зашевелился: «Не бойтесь! Ветер принесет нас в Охотск в целости».

Так и случилось. Прибыли они в порт к командоровой слободе, промышленные к спасенному с почтением, что предсказал добро и удержал от многих напрасных трудов. А он на берег сошел и сказал Трапезникову: «Не печалься, Никифор, что большие богатства нажил, все равно в нищете помрешь!» И начал тот казак в Охотске пророчествовать: партия за море собирается, он возле нее крутится и судьбы предрекает, да больше о том, кому какая кончина. Били его, и не раз. Он отлежится и опять за свое. Стороной обходили, чтобы чего не накликать, в казенку сажали, чтобы перед отплытием судов на причал не ходил... Да разве судьбу обойдешь?! – Бочаров взглянул на темнеющее небо, усмехнулся в бороду: – Я того блаженного в Охотске видел. Молодому-то про судьбу страсть как знать охота. Грешным делом, вертелся-вертелся возле, а он в мою сторону и нос не воротит. Тогда я напрямик, с поклоном, говорю: сделай, мол, милость, поведай?! Он отмахнулся, как от пустого, и говорит: «Пока не вернется последний вольный вояж, будет носить тебя по свету, как проклятого!» До сих пор думаю, что бы это могло значить?

А Никифор лет пятнадцать после пророчества все богател. Уже стал посмеиваться над покойным прорицателем и вдруг одно за другим пропали три его судна. Старик снаряжал другие артели, строил новые суда. Были и удачи, но больше потери. Он обеднел и под конец так обнищал, что помер – отпеть было не на что. Штурман Иван Соловьев снял с себя сапоги, с промышленных, сколько смогли, собрали деньги, так и похоронили самого знатного купца и морехода старых времен.

Щелкнув медью, Бочаров сложил подзорную трубу, сунул ее за кушак, взглянул на Сыся без прежней добродушной задумчивости и приказал:

– Ты вот что, казар, посиди-ка со своим дружкой на палубе, возле якорных канатов. Если к рассвету ветер переменится, буди меня... Ночами тут и летом темно, как у кита в брюхе, к осени того хуже.

Ветер сменился после полуночи. Вот уже и небо стало светлей, заалел восток, порхнула крылами Птица зоревая, рассветная, полетела на запад первая огненная стрела. Васька поднялся и, зевая, пошел будить капитана. Тот вылез из каюты в одном исподнем белье, с серебряным крестом на шее, поводит толстым, помятым носом на море, на флаг и сказал, зевая:

– При такой погоде всякий дурак с судном справится! Будите Афоню!

Разбудив штурманского ученика, креола, тоболяки легли спать, а когда проснулись – под днищем булькала вода и поскрипывали мачты, почти не качаясь, «Финикс» шел вдоль отвесных скалистых берегов. Но так было недолго. Вскоре опять засвистел в снастях ветер и разыгрался шторм.

На этот раз слегла только половина новых пассажиров, другая слонялась по палубе и мешала матросам. Опять ревели в трюме коровы, скрипел корпус судна. Бочаров стоял у штурвала, его седая борода моталась, как избитый березовый голяк.

– Пятый десяток лет хожу по морю, – ворчал. – Но чтобы монахи на борту, да сразу восемь – первый раз... Поют красиво, только у меня все из рук валится и в горле сохнет. А этот, смиренный, везде шастает. Оглянешься – стоит за спиной, глазами луп-луп, наскрозь дырявит, аж мороз по шкуре.

Вторые сутки Бочаров расхаживал возле штурвала, понося ветер и вымотавшуюся команду, вторые сутки «Финикс» ходил в виду берега с высокой остроконечной горой, по которой сбегали вниз белые полосы снега, и не входил в Авачинскую губу. На утесе был виден маяк, к которому судно то приближалось, то снова удалялось от него. Пассажиры роптали, говорили, что Бочаров нарочито всех мучает, чтобы списать компанейскую водку. От них к архимандриту были посланы жалобщики. Капитана мог усовестить только он.

Седобородый монах, глава миссии, поддерживаемый под руки доброхотами, выполз на верхнюю палубу, стал упрекать морехода в издевательствах над людьми. Нос у Бочарова посинел от возмущения, борода расшеперилась, как драное мочало.

– Шел бы ты, батюшка, да молился, радуясь, что плывешь на корабле, а не на обломке мачты...

Но в полдень, уловив какую-то ему только понятную перемену ветра, капитан положил «Финикс» на борт так, что пассажиры, крестясь и охая, вцепились в койки. Вскоре судно почти перестало качать, оно вошло в защищенную от ветров бухту. Сотни птиц срывались с острых скал, с криками кружили над мачтами. Черные урилы подлетали к реям, внимательно оглядывали палубу. Морские топорки, не взлетая, били по воде крыльями и гребли лапами, освобождая путь идущему судну. В удобной Петропавловской бухте, со всех сторон защищенной от ветра, «Финикс» бросил якорь. Архимандрит Иоасаф, уверенный, что его убеждением и Божьей волей удалось образумить капитана, начал благодарственный молебен.

Шторм стих через два дня. Прополоскав бочки, команда пополнила запас пресной воды, «Финикс» с грузом, пассажирами, успокоившимся скотом вышел в море и взял курс на Ближние острова Алеутского архипелага. Еще маячили за кормой острые пики камчатских гор, за которые, пламенея, уходило солнце, Сысой без дела стоял на шкафуте, глядел на них, покуривая трубку.

– Ничего не чувствуешь? – раздался тихий голос за его спиной.

Он обернулся и невольно растерялся, увидев инока Германа. Табачный дым был набран в грудь, не выдохнуть его было невозможно, Сысой смущенно выпустил из себя струю, воротя голову в сторону, поперхнулся, закашлял, скинул шапку, пожал плечами, не зная, куда деть трубку. – Небо пустое! – вздохнув, сказал инок с чуть приметным стоном. Ветер шевелил его кучерявившуюся бороду, красивые длинные волосы, покрытые черной монашеской шапкой. – Уходим из-под Покрова Богородицы... Не многим суждено вернуться! – Герман с печалью в глазах кивнул на удалявшийся берег. – А иным возвращение покажется горше собственных похорон!

Сысой все еще вертел в руках горячую дымившую трубку, не смея ни выколотить ее, ни спрятать. Заметив эту неловкость, инок тем же ровным голосом укорил:

– Не травил бы пристанище души своей, а то ведь рано одряхлеешь, будешь возвращаться мучим кашлем, нездоровьем всяким.

– Через семь лет одряхлею? – удивленно спросил Сысой. – Многие курят, от качки помогает...

Монах грустно покачал головой:

– Молись, чтобы вернуться хотя бы лет через тридцать...

– Эй, казар? – крикнул капитан, свесив с надстройки седую бороду.

– Зовут тебя! – Герман опустил голову и добавил тише, со смиренной просьбой: – Не грешил бы?!

– Ты куда пропал? – строже прорычал сверху Бочаров. – А ну, к штурвалу!

Сысой поклонился монаху, выколотил трубку о планширь и, все еще чувствуя на спине его взгляд, побежал на мостик. Нос Бочарова был багров, как заходившее солнце. У штурвала стояли два матроса. Сысой встал перед капитаном, тот по-свойски подмигнул ему, доставая из-за пазухи флягу, обернутую берестой.

– Прoberешься в такелажку, чтоб ни одна душа не видела, откроешь замок. – Протянул ключ. – Да запришь изнутри и шупай мешки. В одних – ящики с чаем, в других фляги с водкой и ромом. Аккуратно так мешок по шву распорешь... Из одной фляги не наливай: из двух-трех, понемногу. Потом шов зашьешь как было... Гриха? – окликнул скалившегося матроса. – Дай иглу с ниткой. – Шмыгнул красным носом и ласковой добавил: – Нам самим туда нельзя. Приказчик вставать начал. Пока он на нас смотрит, ты крысой прошмыгнешь!.. Я целый год ничего крепче чая не пил, думал, в Охотске отгуляюсь, а комендант, дворянское отродье, силком выслал.

Сысой на миг смутился, вспомнив последний взгляд инока, но подумал: «Не для себя же, по научению!» Сунул флягу под зипун, взял иглу. Вернулся он, исполнив все в точности, весело поглядывая по сторонам и с удалством попыхивая трубкой.

– Молодец! – радостно встретил его Бочаров и похлопал по плечу. – Язык не поворачивается называть казаром, – польстил, но, унюхав запах водки, насторожился: – Ты случаем огня в такелажке не оставил? А то сгорим вместе с водкой и монахами, перекреститься не успеем.

Команда «Финикса» тихо и затаенно веселилась, ветер был попутным, корабль почти не качало. Ювеналий почувствовал среди ночи нестерпимый голод, запустил руку в мешок, вытащил юколу и с удовольствием сгрыз ее, не замечая душка, от которого выворачивало в качку. На верхней палубе через равные промежутки времени раздавались странные звуки: «дук!» да «дук!» – будто кто-то колотил дубиной по сырой земле. Монах полежал, мысленно благодаря Бога за облегчение, хотел встать на молитву, но сосредоточиться ему мешал все тот же странный звук.

Наспех помолившись, Ювеналий поднялся на палубу. Была тихая ночь, на низком небе тускло мерцали звезды, вокруг не было ни души, будто брошенный командой, «Финикс» бесшумно скользил по воде, покачиваясь с носа на корму. От этой качки гик на бизани с равномерным «дуканьем» дергался из стороны в сторону на слабину крепившего его фала.

Монах, вдыхая всей грудью свежий воздух, торопливо прошел к юту, взобрался на высокую корму и остолбенел: на капитанском мостике, возле штурвала, никого не было. Крестьясь и грохоча сапогами, он бросился на бак, возле фока споткнулся обо что-то живое, мягкое, наклонился: на парусине, скорчившись, спал мертвецки пьяный матрос.

– Господи, помилуй! – испуганно пробормотал Ювеналий и бросился в капитанскую каюту. Там вповалку храпели чернявый помощник и матросы. Так и не добудившись никого из них, монах бросился в другую каюту, растолкал Бакадорова, затем побежал будить миссию. Через минуту два десятка пассажиров металась по палубе в поисках капитана.

– Измена, господа! – прокричал Бакадоров, подскочил к штурвалу, попробовал повернуть, покряхтел, тужась, но ни на вершок не сдвинул ни в ту, ни в другую сторону. К нему подбежал Ювеналий, крикнул, подналег на колесо, под палубой что-то хрустнуло, корабль стал медленно разворачиваться, вскоре его сильно качнуло с борта на борт. Из трюма раздались ругательства, на палубу вылез капитан, двумя руками схватился за мотавшийся гик:

– Какого хрена?... Не в свое дело! – зарычал на монаха и приказчика.

Его со всех сторон обступили возмущенные пассажиры, кричали, размахивая руками. Бочаров лишь вращал глазами и дергался, повиснув на гике. Доброхоты выволокли из каюты штурманского ученика, прислонили к штурвальному колесу, с боков придерживая его на ногах. Наконец, Бочаров собрался с силами и закричал:

– Очистить палубу... Я – хозяин!

«Финикс» стало качать еще сильнее. Ювеналий уже понял, что допустил ошибку, взявшись за штурвал, чувствуя снова подступавшую к горлу тошноту, спустился в каюту, стал страстно молиться за грешную бочаровскую душу.

Один за другим из трюма, кают и кубриков выползали матросы. Цепляясь за надстройку, пробирались к юту. Окруженный пассажирами как волк собачьей стаей, полураздетый капитан поднялся на мостик. Монахи грозили карой небесной, приказчик со старостой божились написать жалобную челобитную государыне. Не обращая внимания на поносные речи, Бочаров отправил кого-то в трюм, кого-то на кливера. На карачках команда распозлзлась выполнять его приказания, через четверть часа «Финикс» снова лег в дрейф, слегка покачиваясь и клоня к волне прилива длинный нос.

К утру погода стала портиться, капитан встал к штурвалу ни пьян, ни трезв. Усиливающийся ветер трепал седую бороду, нос алел, как облака на востоке. Сысой за ненужностью залез в шлюпку, свернулся калачом под парусом, лежал, вспоминая вчерашний загул, удивляясь, что у старовояжных нет веселья. Сколько знал и видел, что пахотные, что казаки, выпивали по чарке, начинали петь и плясать. Эти же пили, сидя на месте, и только говорили о горестном, невеселом, будто похвалялись друг перед другом, кто больше выстрадал. Если подвыпившие юнцы пускались в пляс или начинали петь, на них шикали и опять бубнили о своем – мрачном и трудном.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.